

Леонид Гирш



НАЕДИНЕ С ПАМЯТЬЮ

В этом году исполнилось 95 лет Леониду Юзефовичу Гиршу, участнику Великой Отечественной, полковнику в отставке, Почетному гражданину Алматы и Алматинской области, члену Ассамблеи народа Казахстана, члену партии «Nur Otan».

Леонид Юзефович прошагал фронтовыми дорогами все долгие четыре года – с первого и до последнего дня войны. Принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте красноармейцем в июле – сентябре 1941 года. Участвовал в кровавой Сталинградской битве, в танковых боях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Штурмовал Берлин и расписался на колоннах рейхстага.

Профессиональный военный, он служил Родине и в послевоенные годы, занимая различные командно-штабные должности в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах. Окончил Академию бронетанковых войск в Москве. Полковник в отставке. В общей сложности его стаж службы в вооруженных силах составил 43 календарных года.

Он награжден пятью орденами – Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I и II степени, «Достык» II степени и 35 медалями. Кроме того, он имеет государственные награды Польши, Чехословакии, Румынии, Украины, Монголии.

С 1959 года Леонид Юзефович живет в Алматы. Уйдя в отставку по выслуге лет, он продолжал жить и работать так же активно и с такой же огромной самоотдачей. Был начальником штаба гражданской обороны города Алма-Аты и Алматинской области. За отличную работу награжден двумя Почетными грамотами Верховного Совета РК.

Особые страницы биографии Леонида Юзефовича Гирша – его творческая деятельность. Стихи Леонид Гирш начал писать на войне:

Я томик Пушкина в походной сумке
Сквозь все превратности войны пронес.
И в час, когда порой тянуло к рюмке
От множества смертей
И от бессильных слез,
Я тихо начинал:
«Война! Подъяты, наконец,
Шумят знамена бранной чести!..
Увижу кровь, увижу праздник мести».
... Влажнели у бойцов глаза...
Пусть будет проклята война!



В послевоенное время он написал книги «Близко к сердцу», «Наедине с памятью», «Прохладные травы», «Сквозь пламя войны», «Огненный Сталинград», стал автором проекта издания двухтомника «Пламя Победы», собравшего многие воспоминания о героях войны. В книге «Наедине с памятью», главы из которой мы предлагаем читателям «Простора», он замечает: «Только нет в живых никого кроме меня. Почему-то именно мне досталась доля поминать добрым словом ушедших навсегда друзей».

И этот свой долг перед фронтовыми товарищами, долг перед павшими он выполнил сполна. Его память – это действенная память. Ибо, как писал Олжас Сулейменов в статье «Нельзя не помнить!», опубликованной в «Казахстанской правде» и посвященной Леониду Гиршу, «ныне мы все реже напоминаем молодым об уроках той войны, поэтому истинный подвиг поколения их дедов и прадедов не доносится до сознания юных граждан, родившихся уже в Республике Казахстан». Такие уроки и содержит книга Леонида Юзефовича Гирша «Наедине с памятью».

МОЛОДОСТЬ ПРЕДВОЕННАЯ...

Наша школа располагалась в двухстах метрах от реки Ингул. Когда Ингул выходил из берегов, школу затапливало, ученики оставались дома, занятия отменялись, и мы на несколько дней счастливо забывали об уроках и чувствовали себя свободными. Лето 1941-го года началось до странности рано, густая июньская жара сразу после рассвета нависала над разомлевшим городом, а мальчишки и девчонки бежали на речной берег, чтобы всласть купаться и загорать на прибрежном песке.

А между тем в воздухе давно и крепко пахло грозой. Каждая новость из Европы обсуждалась на все лады, гитлеровская Германия и фюрер воспринимались главными врагами Страны Советов и нашего народа. Но кто бы ни заговаривал о войне в Испании, о захваченной Чехословакии, об оккупированном немцами Париже, все убежденно заявляли: «Пусть только сунется, пусть только попробует. Мы ему так дадим!...» Все верили, что врага будем бить на его территории. Вблизи города дислоцировались крупные военные аэродромы, и в школу приходили летчики, воевавшие в Испании. Школьники заворуженно смотрели на гостей, на гимнастерки, где багряной эмалью горели боевые ордена, полученные за бои в испанском небе. «Орденосец!» Тогда это слово звучало волшебю. Сам обладатель орденов воспринимался человеком особого склада, ему даже завидовать было бы странно, только восхищаться и мечтать, что и на твоей груди когда-нибудь загорится красный орденский знак.

С военными людьми старались общаться более всего: как летали, кого бомбили, видели ли живых фашистов, как они выглядят, как разговаривают, когда попадают в плен... Кто тогда мог предположить, что пройдет несколько лет, и все мы сами, к нашему горю, сможем ответить на эти вопросы.

«Пионерская правда» прочитывалась от корки до корки, статьи из «Правды» и «Красной звезды» читались вслух. Помню громадный радиоприемник в лакированном темно-коричневом корпусе, помню магический зеленый огонек сужающегося и расширяющегося зрачка радиолампы. Этот приемник стоял в обкоме партии, где работал мой отец. А в нашей бедной комнате черная картонная «тарелка» репродуктора появилась только в 1940 году, когда нам провели свет. Комнату освещала электрическая лампочка – какое счастье!

...В субботний вечер 21 июня мы, трое неразлучных друзей, с ленцой и немного важничая, чтобы не очень-то задавались знакомые девчонки, долго дефилировали по главной кировоградской улице – Ленина (вскоре немцы ее переименовали), потом пошли на танцплощадку. Из-под ног танцующих плыла сухая пыль, на столбах высоко над нами качались неяркие лампочки, защищенные от дождя жестяными кружочками, и мы неуклюже вальсировали под шульженковскую «Записку»: «Ваша записка в несколько строчек...»

Настроение царило замечательное, и договорились, что расстаемся до рассвета, чтобы утром отправиться втроем на Ингул искупаться и наловить раков. Так и поступили: встали рано-рано, мама испекла пироги с картошкой, рублеными яйцами и зеленым луком на шипящей от щедро положенного масла сковородке, дала мне с собой бутылку молока. Я очень любил молоко. От маминой внимательности и доброты стало очень хорошо и спокойно на душе. Выходя из дома, посмотрел на циферблат будильника. Стрелки показывали ровно шесть часов утра.

Шли мы с удочками: на Ингуле водились не только раки, но и караси. Свежесть раннего июньского часа была необыкновенной. Ясная погода обещала сильную дневную жару. Со стороны противоположного берега легко-легко стелился белесый, полупрозрачный дымок догорающего рыбацкого костра.

Пришли на реку первыми, побросали рубашки и брюки на берег, кинулись в воду, плавали и ныряли до изнеможения. Потом, согреваясь, бегали, как сумасшедшие, по берегу. Согрелись, взялись за удочки, клев – замечательный, такого никогда не было, очень быстро наловили карасей. Оставив удочки, шарили руками по речному дну. В прибрежных ямах находили раков, совали в мешочек. Опускали его в воду, а сами вновь ныряли и плавали.

Наконец, солнце стало припекать нестерпимо – пора возвращаться домой. Небесное светило в зените. Счастливее нашей дружной троицы на свете нет никого. Приближаемся к пивзаводу, там – конечная трамвайная остановка, от нее мы и поедem по домам. Чем ближе к остановке, тем сильнее охватывает нас недоумение и странная необъяснимая тревога: на остановке собралась громадная толпа, никто не расходится. Кого-то убили? Кто-то попал под трамвай? Что случилось?.. Автомобили тогда были бóльшей редкостью, чем орденосцы: на весь Кировоград имелись всего-навсего две «эмки».

И вдруг пожилая женщина хмуро говорит нам: «Что вы стоите? Не знаете, что война началась?..» Поминают Молотова, русская речь мешается с украинской, и все разговоры лишь только о войне и о том, что теперь будет со всеми нами.

Над трамвайной остановкой на столбе – раструб уличного репродуктора. Голос Левитана: «Германия, вероломно нарушив Пакт о ненападении... Без объявления войны... Бомбили советские города... Постановление Совнаркома... Мобилизация объявлена в тридцати пяти военных округах...»

ВОЙНА У ПОРОГА

И мы оказались в другом мире. Прежняя жизнь, суетная и беззаботная, счастливая и печальная, навсегда закончилась. Опустив головы, безрадостные, мы возвратились домой, зная, что война – это жертвы и разрушения, зная также, что война – это еще и разлука с родными и близкими людьми. Во дворе только и говорили о том, какие возрасты подлежат мобилизационному призыву. Коля

печально сказал: «Придется мне в армию идти». Прибежала с другого конца города мамина сестра Аня: «Моего мужа забирают в армию...»

Никуда мы в тот вечер не пошли. Впервые детей не погнали, как обычно, спать после десяти часов. Все вместе сидели в медленно остывающей ночи и, как далекое-далекое прошлое, вспоминали сегодняшнее утро на Ингуле, купание, удачную рыбалку.

Радио сообщало, что наши войска сдерживают натиск противника, что не должно быть никакой паники. К полуночи над Кировоградом появились немецкие самолеты, дробно застучали, захлебываясь в сухом злобном лае, зенитки и крупнокалиберные пулеметы. Вспыхнули прожектора. Расширяющиеся световые конусы уперлись в ночное небо и двинулись по нему в разные стороны, разыскивая летящие бомбардировщики. Редко-редко в прожекторном пятне возникал черный плотный силуэтик немецкого самолета – это был «юнкерс». Шквальный зенитный огонь не причинял атакующим «юнкерсам» никакого вреда, и они снова и снова заходили на цель.

На тех самых военных аэродромах, что так хорошо были известны всем городским и сельским мальчишкам, откуда приезжали к нам герои-летчики, начали рваться бомбы, сброшенные немцами, и наши, что хранились на складах боеприпасов. Над аэродромами, сквозь всполохи частых разрывов, поднялись высокие огненные всплески: красно-желтое пламя беды. Через полчаса «юнкерсы» исчезли, стихли зенитки и пулеметы, погасли огни прожекторов. Аэродромы пылали до рассвета.

Спустя сутки бомбили город, близлежащую окраину Новониколаевку, железнодорожный вокзал, завод. Мы видели убитых и раненых. Траншеи рыли прямо в саду, они должны были служить примитивным бомбоубежищем. Поверх вырытых окопов клали деревья. На каждой яблоне, на каждой груше в зеленой листве прятались твердые несозревшие плоды. Душу охватывала печаль, потому что было ясно: спелых яблок и груш из нашего сада нам уже не отведают.

Каждодневные бомбежки стали привычными. Военнообязанные по призыву первой очереди отправлялись на фронт. Отовсюду неслись тревожные слухи: там взорвали нефтесклад или машинно-тракторную станцию, там отравили колодец или сожгли ферму с коровами и лошадьми. Военкоматы и местные власти призывали не поддаваться панике. Все боялись немецких десантов, и в каждом не совсем привычно выглядевшем человеке видели вражеского шпиона.

Около изувеченного бомбами перрона останавливались санитарные поезда. Из вагонов выгружали раненых, везли в больницы и школы, ставшие полевыми госпиталями. Через Кировоград на фронт шли армейские грузовики «ЗИС-5», артиллерийские «сорокапятки» на конной тяге, проходили стрелковые части.

Так прошло дней десять. Мало кто обращал внимание на ежедневные самолетные схватки в городском небе. Кировоград пустел, жители покидали дома, санитарные поезда больше не выгружали раненых, а, наоборот, забирали тех, кто оказался здесь в первые дни войны. Эшелон за эшелонами власти отправляли на восток заводское оборудование, все то, что не должно было достаться врагу и что можно было вывезти. Вместе с друзьями и я пришел в военкомат с заявлением, которое долго сочиняли все вместе. В нем мы просили отправить добровольцами на фронт. Из военкомата нас погнали, сказав, мол, помогайте дома, и здесь, в тылу, работы хватит. Мы копали противотанковые рвы, но дорогу в военкомат не забывали.

Когда вместе с друзьями я появился там в третий раз, все решилось неожиданно быстро. Немцы были уже вблизи родного города. В кабинете военкома мы застали командира какой-то части. Он настойчиво требовал пополнения. А у военкома в запасе уже никого не было.

Увидев нас, командир обрадованно сказал военкому:

– А говоришь – все на фронте! Давай-ка к нам этих орлов!

Военком покачал головой: «Рановато им под пули, пацаны несмышленные...»

Но мы, ухватившись за слова командира, «сломили» сопротивление военкома, и он приказал спешно оформить нам необходимые документы.

Так вместе с товарищами я стал бойцом 177-го стрелкового полка 31-й дивизии Юго-Западного фронта.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

И вот мы надели солдатские гимнастерки. Нас постригли наголо, выдали винтовки. Наш полк занимал оборону западнее Кировограда. Но не успели мы освоиться и осмотреться, как пришлось отступать. Бежали от немцев беспорядочно, среди бесконечных бомбовых разрывов, когда комья земли из возникшей на глазах воронки стучали по голове и спине. Кое-как остановились, заняли рубеж обороны. Измотанные, голодные стали лихорадочно рыть окопы.

Стрелять из тех окопов не пришлось. За нашими спинами плавно, медленно опускались белые парашютные купола – десант немецких автоматчиков. Командир полка построил всех оставшихся в живых, и мы бросили только что оборудованный рубеж обороны.

Июньская жара, крепкая летняя пыль, кругом – стрельба. Мы осторожно продвигаемся в тыл. Капитан говорит, что привал через десять километров, и уточняет маршрут движения. Я слышу, что мы идем на Кампанеевку и Бобринец, и спрашиваю: «Можно домой?»

«Не сбежишь?» – устало говорит капитан.

И меня отпустили домой...

Только открыл калитку родного двора, как собрались соседи. Стащил пропотевшую гимнастерку. Мама, сестра Аня облили меня ведром холодной воды. Говорю: «Не могу задерживаться, наша часть отходит...»

Мама положила в вещмешок хлеб, яйца, лук – месяца не прошло, как она собирала меня на Ингул. И вот – нет мирной жизни, а я долго-долго смотрю на маму, и страшная на сердце тоска. Хоть и говорю, что, может, немцы не придут, может, напрасно прячем документы, закапываем в землю, но про себя знаю – будут здесь немцы, будут. И чувствую, что прощаюсь с мамой навсегда. Стою около дерева, ладонью чувствую его теплую кору. Мама поцеловала меня, и всё – пора расставаться. По моим щекам текут и мои, и мамины слезы. И сколько раз в жизни ни вспоминаю тот июльский день 1941 года, не могу не плакать.

Мои друзья, Андрей и Павлик, решили ко мне присоединиться. Мы идем по густой дорожной пыли, идем на Кривой Рог. Мирные жители – вперемежку с войсками. Мужчины и женщины с котомками, с наспех схваченными домашними вещами, дети – в платках от пыли и жары. И так жаль каждого, на кого ни помотришь. Жаль оставленных родных. О себе, о своей судьбе – и не вспоминали.

Команда «Стой!». Привал... Подошли к колодцу, вращаем ворот. Из колодезной глубины появляется ведро, оно полным полнехонько, а в нем – вода – ледяная, вкусная, и она кажется чем-то драгоценным, самым необходимым на свете. Не успеваю насладиться водой из придорожного колодца, как – отчаянный крик: «Воздух!..» Бомбардировщики проносятся над нами низко-низко: ошибись летчик на метр – другой, и врежется в землю. Но летчики не ошибаются, пули взбивают фонтанчики пыли, убивают и ранят людей. И крики умирающих, вопли страха заглушает страшный ноющий вой бомбовых сирен.

...Мы отступаем... Ни одного косога взгляда, ни одного недоброго слова, люди делятся последним. Помню ночь в неизвестном селе, куда мы вошли уже при звездах. За каким-то домом находим большой стог сена. Немолодая хозяйка в туго повязанном платке, надвинутом на брови, машет рукой: «Делайте с тем сеном, что хотите!» И все бросаются спать. Лежим вповалку, не раздеваясь, лишь стацив с распухших ног сапоги. Сон мгновенный, тяжелый, без сновидений.

Жесткая капитанская рука грубо трясет меня за плечо: «Подъем!» Поднимаюсь с трудом, почти ничего не соображаю. На марше дремлю в строю, время от времени ошалело смотрю то на звезды, то на соседних бойцов. Чуть-чуть рассвело, когда мы сошли с большой дороги в лесок. Шли, стараясь не привлечь внимания немецких бомбардировщиков.

Когда на горизонте показались кварталы Кривого Рога, нам приказали копать противотанковые рвы. В который раз за прошедшие дни вновь прозвучала команда: «Занять оборону!..»

Почти два дня мы рыли окопы с обязательным бруствером в сторону противника. Если танки прорвутся, то наша задача – бросать бутылки с зажигательной смесью. И опять все напрасно. Не сделав ни одного выстрела, отступаем на Павлоград. Немецкий десант – за Кривым Рогом. Только под Павлоградом нам пришлось выдержать тяжелый бой. Тогда, вдавившись в землю, палил наугад из винтовки по мелькавшим вдалеке серым фигуркам, считал секунды от одного взрыва бомбы до другого, а в небе – одни лишь вражеские бомбардировщики. Зато наши артиллеристы стреляли грамотно, метко и быстро, не дали подойти атакующим немцам ближе, чем на четыреста-пятьсот метров.

Атаку немцев отразили, но поле боя пришлось оставить. Отступаем, отстреливаясь, не имея представления, кто сражается с немцами справа, кто – слева, никакой связи и в помине не было. То здесь, то там вспыхивали бесформенные скоротечные перестрелки, и вскоре мы оказались в Запорожье.

Август... Стояла крепкая, томительная жара. Узнаю, что Кировоград взят немцами. Но кому расскажешь о своих печальных переживаниях: кругом столько горя, у каждого своя неизбывная беда. Многих, кого я узнал, когда впервые оказался в полку, уже не было, зато не счесть лиц незнакомых. Полк пополнили красноармейцы из разбитых частей. Я спрашивал каждого, откуда он, из каких мест, искал земляков...

Нам, молодым бойцам, доверили ответственное дело. Мы спешили к заводским цехам. Командир держал в руках плотный бумажный лист, на котором тусклыми синими линиями обозначены заводские коммуникации и помечено, куда закладывать взрывчатку. Тянем шершавый, словно змеиная сухая шкурка, бикфордов шнур. То тут, то там кладем продолговатые брусочки тола, подсоединяем электрические провода.

Страшное зрелище, когда в воздух с грохотом, пылью, в плотном черном дыму вздымаются распадающиеся стены. Вниз после взрыва валятся обломки, и только что существовавший завод внезапно превращается в дымящиеся развалины.

Из Запорожья отступаем на Макеевку. Прошли 60 километров. Привал. Ко мне подходят Павлик и Андрей. Всего несколько дней назад командир по моей просьбе, спросив лишь документы, принял ребят в полк. Мои друзья говорят, что они передумали: «Леня, мы останемся, отсидимся...» – «Да вы что, ребята пропадете ни за грош!...»

И все-таки они ушли, как ни уговаривал я их, как ни убеждал. Больше не видел ни того, ни другого. После войны узнал, что Павлик работал на немцев.

На том привале, когда друзья внезапно покинули меня, вспоминались последние часы в Кировограде. Припомнилось, как после военкомата зашел к Лене. Как только я переступил порог дома, ее мама заплакала. Так, сквозь слезы, и прошла наша прощальная беседа: «Ты нас помни, Лёничка, мы остаемся, нам некуда эвакуироваться, не забывай...» И с Леночкой прощание вышло очень трогательное, но обнять и поцеловать ее, девушку, которая мне очень нравилась и о которой думал все больше и больше, не решился.

ШКОЛА МУЖЕСТВА

Конец августа – начало сентября... Отступаем по направлению к Донецку. Дебальцево, Ворошиловград... Петляем по степи, открытой всем ветрам и всем немецким самолетам. Неубранное поле, по нему бегут красноармейцы, спасаясь от «юнкерсов» – те с утра до вечера охотятся за воинскими колоннами. И я бегу вместе со всеми. Вой сирен, разрывы, земляные фонтаны, свистят осколки – тонко, пронзительно, смертельно. Но обстановка не позволяет думать ни о чем, кроме как о скором и надежном укрытии. Бегу в тяжелых кирзовых сапогах, поминутно спотыкаясь, чудом держась на ногах. Глазами ищу хоть какую-нибудь воронку, ямку, чтобы спрятаться, переждать бомбежку. Нашел! Со всего размаха бросаюсь, больно ударяясь о край воронки. Не успел свернуться калачиком. Ноги остались снаружи. Метрах в тридцати оглушительно рвануло, острый слепящий блеск резанул глаза, и тотчас словно весь земной шар обрушился на меня. Землей засыпало так, что дышать почти не в состоянии. Кроме того, чувствую страшную боль в ноге. Она жгла нестерпимо. Не могу ни подняться, ни пошевелиться. Кое-как, с превеликим трудом, раздвигаю локтями землю. Задыхаясь, весь в липком поту, ничего не видя, с закрытыми веками и крепко сжатыми губами, разгребаю землю правой ладонью. Рука вытянулась во всю длину. Тогда я стал ею же продвигаться к левой руке. Стало легче – работаю обеими руками, выползаю на белый свет. Бомбежка стихла, нога окровавлена, кирзовый сапог прорезан осколком. В сумке от противогаза – патроны, сухари и два бинта, спасших мне жизнь: раненые на поле боя, как правило, погибали от потери крови. Туго-туго перебинтовал рану, перевязал ногу выше колена. Кричу, кричу, зову на помощь. К счастью, подошли санитары.

Всю ночь пролежал на грузовой платформе железнодорожной станции, названия которой не знаю. Раненых было столько, что хотелось спросить, кто же остался в строю. В стогах, своих и чужих, томительно тянулась ночь. Нас не кормили, только после полуночи напоили кипяченой водой из станционного титана.

Перед рассветом тихо-тихо, без огней подошел к станции санитарный поезд. Нога моя была вся перебинтована. Рану почистили и обработали в медсанбате. Когда стащили продырявленный осколком сапог, разрезали и сняли штаны, я пришел в ужас от того, что вся раненая нога была уже красно-синюшного цвета. Промедли санитары – и не миновать бы мне гангрены.

Тем временем дошла очередь и до меня. Рядом со мною поставили санитарные носилки, осторожно переложили на них и погрузили в вагон. Полусонный, измученный раной и долгой бессонницей, я чувствовал, как душно в поезде, как пахнет кровью, смесью спирта и лекарств. Вскоре, понимая, что для меня война окончилась, по крайней мере, на время, заснул, не задумываясь, куда мы едем и сколько дней суждено пробыть в спасительном санитарном поезде.

ХОТЕЛОСЬ ДУМАТЬ О ХОРОШЕМ

Времени было вдоволь, и как же было не предаться воспоминаниям. Временами казалось, что недавно пережитое было давно. Но иногда мои воспоминания, словно по какому-то волшебству, возвращали в детство.

А детство выпало мне тяжелое, бедное, можно сказать, нищее детство. Отец мой – Юзеф Гирш, участвовал в Гражданской войне, ему не было и двадцати лет, когда его тяжело ранило. Во времена моего детства он – простой типографский наборщик. Он очень любил свою жену, мою маму, она была совсем неграмотной, а сам отец окончил школу. Правда, ни он, ни мама еврейского языка не знали.

Жили все мы в домике на окраине Кировограда. До революции этот город назывался Елисаветград. Назвали его так в честь любимой дочери Петра Первого. И основан он был в XVIII веке. В домике мы снимали одну небольшую комнатку с твердым и холодным глиняным полом. Моей обязанностью сызмальства было мазать пол, как принято обычаем в каждой украинской хате. Разведешь в тазике или ведре глину с кизяком и ползаешь на коленках, замазываешь ладонью все трещины, разглаживаешь неровности. Потом дашь просохнуть и разбрасываешь по полу сухие пахучие травы, кладешь половик из мешковины. Две железные кровати, на одной из которых сплю я, а на другой – родители, вот и вся обстановка.

Зато красивее нашего города, казалось, и на свете не бывает: весь утопает в зелени, спокойствие разлито в самом городском воздухе. Улицы чисты, и каждый городской уголок красив необыкновенно. А как прекрасен Ингул, приток Буга! Река, с которой мы не расставались ни в раннем детстве, ни в школьном отрочестве, ни в юности. В летние каникулы пропадали на Ингуле от зари до зари, довелось даже тонуть в Ингуле. Так что многому научила меня эта река, красивая и суровая.

Да, берега Ингула мы знали как свои пять пальцев. И в какие только игры мы там не играли, из которых любимейшей была цурка – лапта. Еще мы любили территорию старинной крепости с толстенными валами времен русско-турецкой кампании XVIII века; с той поры остались на валах огромные пушки. Заброшенная крепость со всеми ее таинственными уголками, замшелыми каменными плитами, загадочной, манящей и пугающей одновременно пустынностью была лучшим местом, чтобы затеять многочасовую игру в казаки-разбойники, а то и просто вдоволь подраться, причем нередко в детские кулачные бои вмешивались взрослые.

Носов разбитых – не счастье, как и синяков и шишек, зато в таких столкновениях, когда не щадили чужих скул и собственных кулаков, воспитывалось мужество, храбрость, лихость. Конечно, шибко интеллектуальным такое воспитание не назовешь: стихов мы не читали, да и книг-то, чтобы найти эти стихи, не было. В нашей бедной комнатке радио появилось только перед самой войной. Не знали электричества, изредка зажигали керосиновую лампу. А так все больше чадил каганец с его скупым, мигающим и тлеющим огоньком, почти не дающим света. Любимым предметом комнатной обстановки была, конечно, печка с чугунным прямоугольником плиты, с двумя конфорками, а около печки – полка с немногочисленной посудой, двумя-тремя чугунками, кастрюлями и сковородками.

...Просыпался от того, что санитарный поезд замирал на каком-нибудь неведомом полустанке, пропуская несущиеся на запад воинские эшелоны с пехотой и танками...

Вспоминалось из детства разное и порою неожиданное. Скажем, дорога к городской тюрьме – серо-свинцовая выпуклая брусчатка. По ней шли люди в военной форме. Руки заведены назад, петлицы сорваны. Среди них, может быть, и те летчики, что совсем недавно в нашей школе рассказывали о том, как они дрались с фашистскими асами в небе Испании. По бокам колонны так же медленно, не отставая и не забегая вперед, шли конвоиры с опущенными винтовками. Штыки были примкнуты, и время от времени острие штыка с лязгом царапало тусклый гранит брусчатки.

К краю дороги сходились люди, кто-то бросал идущим кусок хлеба, конвоиры отворачивались, из колонны доносился голос: «Хлопцы, мы – не враги, мы – не враги». Потом колонна скрывалась за высокими железными воротами четырехэтажной тюрьмы из красного кирпича. Проводив арестованных до тюремных ворот, жители долго не расходились. Из зарешеченных окон иногда махали то платком, то рукой. Случалось, ночью гремели выстрелы. Они были слышны во всем городе. Утром люди шепотом рассказывали, что из тюрьмы политические совершили побег. Становилось известно, что кое-кого из бежавших прятали от тюремщиков.

Напротив нашей школы располагалось здание суда. Заседания неизменно заканчивались в четыре-пять часов, и все мы, кировоградские мальчишки довоенных лет, сочувствовали несчастным. Мы пробирались поближе к осужденным. Нас не могла остановить никакая толпа. И, выбираясь из-под руки какой-нибудь бабы, что вытирала заплаканные глаза, успевали неприметно передать хмурому «преступнику» кусок хлеба, яйцо или яблоко.

Со своими друзьями, особенно с Колей Волковым, я почти не расставался. Ни обмана, ни недомолвок, ни национальной розни – чистая мальчишеская дружба. Коля Волков был обладателем необыкновенно изящных швейцарских часов «Омега» и велосипеда. Такие счастливцы в Кировограде были наперечет, и о них знали все. Чтобы удостоиться чести прокатиться на велосипеде «до того квартала и обратно», записывались в очередь. Мне же Коля даже доверял поносить часы, чтобы я мог пофорсить, пригласив на танцы Леночку Чеботареву.

В 1935 году отец принес с работы путевку в пионерский лагерь. Как же там было хорошо! Особенно запомнилась ловля раков, к которой я отчаянно пристрастился. Раков тогда было полным-полно повсюду: в каждом ставке, в старицах, вблизи берега реки Ингул. Войдешь по колено в воду, бредешь по дну и

шаришь-шаришь рукою под водой по скользкой глине. Раки впились в руку. Вытаскиваешь, складываешь в авоську, потом тащишь тяжелую сетку к костру, а там уже закипала речная вода в закопченном казане. Бросаешь пойманных раков в кипяток, солишь, перчишь, добавляешь лавровый лист, – вкуснотища...

С грустью вспоминалось детство, которое не вернешь, как ни старайся. Вспоминалось и плохое, и хорошее. Как проиграл однажды в карты, в очко, и старшие пацаны заорали: «Проиграл, получи свое!..» И щелкали по макушке, не жалея. От ста двадцати щелбанов несчастная моя голова затекла и распухла. Больше в карты не играл. Отучили на всю жизнь.

Я ходил в авиамodelьный кружок во Дворец пионеров. Сухое шуршание тончайшей папиросной бумаги, невесомые бамбуковые тростиночки, из которых в конце концов составляешь прочный каркас модели. Моторчик, запускаемый с помощью крепкой, волнуяще щелкающей резинки, и длинный шнур, на котором, как лошадь на корде, движется по кругу твой маленький самолетик.

Вторым излюбленным местом после Дворца пионеров, в который мы ходили на каждый драматический спектакль, был кинотеатр «Сивашец». Во Дворец совершалось прямо-таки паломничество. Руководителем драмкружка был обаятельнейший человек с роскошными усами. Он так красиво жестикулировал, так увлекательно репетировал с кружковцами, что это зрелище порою оказывалось лучше самого спектакля. Мольеровские «Проделки Скапена» остались в памяти на всю жизнь. Так же, как и кинокартина «Чапаев». Этот фильм смотрели бесчисленное количество раз. За мгновение до того, как в зале зажигался свет, прятались под сиденьями. А если выгоняли, мы затевали заваруху возле контролера и проскальзывали внутрь. Так что «Чапаева» я и по сей день знаю наизусть. Задайте вопрос по любому кадру старого фильма, и отвечу. Из кинотеатра бросались к крепости, где быстро затевали баталии между «белыми» и «чапаевцами», даже «психическую атаку» офицеров-капеллецев изображали. Одним словом, пропадали то на комедийных спектаклях во Дворце пионеров, то в «Сивашце», где шли «Волга-Волга» и «Юность Максима». Если только не сидели за школьными партами. Или если ребята постарше не помыкали нами, требуя, чтобы вынесли из дому кусок хлеба, заставляя играть в карты, таскать из чужого сада яблоки.

С чужими яблоками я попался; слава богу, один раз. Перелез через забор Остапа-соседа. Кидаю подельникам через забор спелые яблоки прямо за пазухи ситцевых рубах. Кидаю, тороплюсь, увлекся. Смотрю с дерева вниз – почему-то никого не осталось, все разбежались. Стоит внизу Остап и говорит: «Ну-ка, иди сюда!..» Схватил меня Остап за уши да об дерево, об ту самую яблоню, с которой я только что слез. А после – и крапивой настегал. От мамы дома мне тоже досталось, будь здоров! Правда, мы все-таки редко ссорились. Мама и я – любили друг друга.

Юность и отрочество – это школа, и с нею у меня связаны самые лучшие воспоминания. Учился я хорошо, а на последней парте сидел потому, что был выше всех в классе. Моей соседкой была дочь директора школы Леночка Чеботарева. Мама ее, Полина Ильинична, преподавала русский язык и литературу. Все ученики слушали ее с открытым ртом.

Леночка очень нравилась мне, это была первая любовь. В ее семье ко мне относились хорошо. Жили они при школе, и на большой перемене меня при-

глашали на чай. Смушался я невероятно, но Чеботаревы были интеллигентные люди, и ни разу не дали мне почувствовать себя мальчиком, которого зовут в гости из жалости.

ВСЕ – НА ЗАПАД, Я – НА ВОСТОК

...Декабрь 1941 года. Новосибирский госпиталь. Оконные стекла в госпитальной столовой сплошь заросли толстым инеем. Мороз на дворе – страшный. На улицу из двери, стоит на мгновение ее приоткрыть, бьет клубами плотный белый пар. Сажу за своим столом. Только протянул руку к тарелке с хлебом, слышу:

– Товарищ красноармеец, зайдите к начальнику отделения!

Вытягиваюсь в струнку на пороге кабинета:

– Ранбольной Гириш по вашему приказанию прибыл.

Военврач в белом халате приказывает:

– Пройдись-ка! Станцуеть с девушкой... Годен к строевой. Позавтракал?

– Так точно, товарищ военврач!..

– Получай документы, отправляйся на пересыльный пункт.

Около одиннадцати часов утра, с вещмешком за спиной, в кармане – 500 рублей, я вышел из госпиталя в сумасшедший новосибирский мороз. Не прошел и ста метров, как страшно замерз. Спрашиваю прохожего, как пройти к вокзалу, – пересыльный пункт именно там располагался. А он советует:

– Ты, молодой человек, скорей лицо снегом разотри, пока не обморозил, сначала – снегом, потом – шинелью. Давай, давай, живее...

Подбегаю к вокзалу, промороженный до костей, а есть – охота нестерпимая. На привокзальном базарчике покупаю буханку хлеба за триста рублей и литровый круг мороженого молока. И опять бегом в здание. Там тепло, народу – тьма. Около титана с кипятком – очередь. Налил воды в котелок, порезал большими ломтями хлеб. Ничего вкуснее в жизни не ел! Хлебные крошки аккуратно собрал, вот и славно пообедал.

...Открываю дверь пересыльного пункта, захожу, представляюсь. Меня спрашивают:

– Ты фронтовик? Слушай, давай в Омское артиллерийское училище.

– Да мне все равно.

– Тогда садись к столу, заполняй документы.

Дверь отворилась снова, и в комнату вошел моряк. Он заметил меня и спросил, согласен ли я поступить в Тихоокеанское высшее военно-морское училище.

– Согласен.

– Если согласен, то вот Куценко – старший, обедать будем в пять часов на продпункте, в семь часов уезжаем.

...К перрону новосибирского вокзала подошел поезд «Москва – Владивосток», и вскоре мы оказались в купе. Разместились с таким комфортом, что и поверить было нельзя. После всего, что пережито – чистое белье, жарко натопленный вагон. Знакомлюсь с грузином, который называет себя Чантурия. Мы еще только на пути во Владивосток, а уже чувствуем себя курсантами. И все было бы прекрасно, если бы не сводки Совинформбюро, которые слушали по радио на станциях, читали в газетах, передавая из рук в руки. Я все время думал о маме, о других родственниках, оставшихся в Кировограде, оккупированном немцами.

Душа болела и за дядю, Бориса Владимировича. Смог ли он с семьей выехать из блокадного Ленинграда? Что с ними со всеми случилось?

Невеселые раздумья не давали мне заснуть. Даже мерный, убаюкивающий стук вагонных колес не помогал: сон не шел. А если и наваливалась тяжелая дрема, то мерещились кошмары, видения одно другого страшнее. И лишь с рассветом становилось полегче. Я впервые в жизни ехал по знаменитой Транссибирской магистрали. Товарищи не могли оторвать меня от вагонного окна. Невозможно было наглядеться на божественную красоту таежных пространств. Мелькали маленькие поселки и города.

На станции Ерофеич поезд стоял долго, и в одном из магазинов даже продавалась местная водка «Ерофеич». Новоиспеченные курсанты переглянулись и, потупив глаза, пошли к выходу: мы помнили, что наш старший команды, капитан-лейтенант из училища, предупредил строго-настрою, что коли кто примет горячительное, может заранее считать себя отчисленным. Таковым быть никто не желал. И, тем не менее, когда вновь застучали вагонные колеса, в нашем купе обнаружилась заветная бутылка сибирского «Ерофеича». Задолго до того как на фронте пришлось получать положенные «наркомовские» сто грамм, нам досталось понемножку приятной таежной водки. В припахивающем крепким самогоном напитке явственно чувствовался кисловатый привкус кедровых орешков.

Долгую дорогу скрашивали откровенные разговоры. Мы все быстро перезнакомились, чему, наверное, способствовала и стограммовая порция тайком от капитана выпитого «Ерофеича». И поскольку я оказался единственным, кто побывал на фронте, естественно, меня в основном и расспрашивали, как там, каковы фашисты. Петя Чантурия, Коля Куценко, Володя Шульгин, Игорь Тихомиров, Сережа Шадрин... С ними в особенности крепко подружился, с ними делился и воспоминаниями, и переживаниями.

Тем временем состав все несся и несся по Транссибирской магистрали. Паровоз проворно втаскивал эшелон в туннель, и все купе погружалось во мрак, полный и внезапный, чтобы через несколько минут вновь вынырнуть на яркое солнце погожего декабрьского дня. После очередного туннеля, а их здесь было превеликое множество, в купе долго-долго ощущался запах угольного дыма. Все наше путешествие во Владивосток припахивало этим кисловатым дымком.

И наконец поезд выбрался на простор байкальских берегов. Остановились на станции Байкал. Времени оказалось предостаточно. Мы все, как один, надолго замерли вблизи байкальской воды, чище которой в мире нигде нет. Ее прозрачность, ее хрустальное спокойное свечение завораживало. Разноцветные камни на озерном дне все сплошь казались драгоценными. Солнечные лучи легко пронизывали прибрежную воду, и еле заметная рябь от зимнего ветерка переливалась всеми цветами радуги. Ледяная байкальская влага, которую мы не преминули отведать, запомнилась на всю жизнь: более вкусной и сладкой воды пить не приходилось.

...Приближался новый, 1942 год, до которого оставалось всего-навсего несколько дней. Мы переступили порог училища. Новичков по морской традиции называли салагами. Оглушенные и ошарашенные образцовым порядком, салаги присматривались к тому, что делается в аудиториях, училищных казармах, столовой, караульных помещениях и кубриках, на учебных кораблях. А как замечательно выглядели курсанты! Прямая спина, развернутые плечи, четкий поворот

головы... Как они вытягивались в струнку и как щегольски приветствовали старших по званию. Выглядели курсанты, как обыкновенные краснофлотцы, только на левом рукаве блистали золотые нашивки, по которым можно было узнать, какого года обучения курсант.

Вскоре и мы надели морскую форму, приняли присягу и слушали в учебных классах лекции по навигации, лоции, такелажному делу. Преподаватели объясняли, какие существуют на свете военно-морские корабли. И если бы, не дай бог, японские боевые суда появились в Амурском заливе, на берегу которого и располагалось училище, мы бы, конечно, смогли по корабельным очертаниям определить, что это за судно.

Приходилось нам в портовых терминалах бухты Золотой Рог разгружать американские корабли. Они привозили из США грузы, поставляемые по ленд-лизу: свиную тушенку, яичный порошок, военное снаряжение. «Докерам» в краснофлотской форме, хоть и редко, но все-таки выдавали увольнительные. Тогда мы бродили по незнакомому Владивостоку, на улицах которого попадались старинные дома необыкновенно привлекательной архитектуры.

Май 1942 года... Мы становимся заправскими мореходами. Вот когда особенно ярко вспоминаются читанные-перечитанные произведения любимых авторов: «Цусима», «Фрегат “Паллада”», «Капитальный ремонт» и весь Станюкович. Пока научились ставить паруса, ходить на баркасах и шлюпках, ладони стали твердыми от мозолей. Освоили морскую речь, начиная с общеизвестного термина «полундра» и кончая теми солеными словечками, которые применяются не только военными моряками.

Наши воспитатели сурово приучали нас к морскому делу. Какая бы погода ни стояла на дворе, мы отправлялись в плавание по Амурскому заливу. А на южной оконечности Русского острова, в бухте миноносок, проходили водолазную практику. Как-то раз натянули на меня водолазный костюм. Предупредили, чтобы опасался осьминогов. У этого морского животного клюв мощный, запросто может пробить толстое иллюминаторное стекло. Опустили на дно залива. Стал я пробираться к учебному объекту, то ли затонувшему здесь, то ли нарочно затопленному. Топаю тяжеленными башмаками со свинцовыми прокладками по мягкому илистому дну, вверх поднимается мутная морская жижа. Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Так это бесцеремонно, по-приятельски хлопнул. Сердце у меня зашлось от страха: «Осьминог!» Неужели здесь, на дне залива, в одиночестве, в водолажном костюме и найду я конец моей жизни? Лихорадочно и часто стал дергать сигнальную веревку, что означало: «Тревога! Немедленно поднимайте на поверхность!» Подняли, спасли, только вот до сих пор так и не знаю, то ли это осьминог похлопал меня по плечу, то ли задела какая-нибудь деталь или толстенный канат затопленного судна.

Молодость, бесконечная череда разнообразных событий... Скоро все прошедшее не то, чтобы позабылось, а покрылось легким туманцем забвения. Зато романтика морской жизни подвигла меня к сочинительству. И появилась на свет «Песенка морского пехотинца», написанная на мотив популярнейшей в тридцатые годы мелодии «Гоп со смыком». Как я признателен далекому теперь дню, когда-то случившемуся во Владивостоке военных лет, когда я впервые написал на белом листе бумаги самостоятельно сочиненные стихи! Думаю, что без тяги к сочинительству жизнь моя была бы намного, намного беднее. Не было бы счастья

общения с любимыми поэтами, не поддерживали бы меня в нелегких житейских обстоятельствах прекрасные строчки Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Леси Украинки, Симонова...

Всё в училище шло своим чередом: учебные классы, походы по Амурскому заливу на баркасах под парусами. Но однажды ясным погожим июльским днем 1942 года нас построили на училищном стадионе. Прогремела команда: «Смирно!..» Все курсанты замерли в строгом строю, и начальник училища, капитан первого ранга Поскотинов, коротко, простыми словами обрисовав обстановку на фронте, объявил приказ Верховного Главнокомандующего о передаче части личного состава Тихоокеанского флота, в том числе и курсантов Тихоокеанского Высшего военно-морского училища, во флотский экипаж для отправки на фронт.

Пятый курс училища – на укомплектование Черноморского, Балтийского и Северного флотов, остальных курсантов – в морские пехотинцы. Срок сборов в дорогу – одни сутки. Вспоминаю спустя долгие годы нашего начальника училища, «отца-командира». Человек, немало годов прослуживший во флоте, доброй души, строгий и справедливый, никогда не повышал голоса на подчиненных и даже к простому курсанту обращался на «вы». Одним словом – «военная косточка». Его звали «морским волком» и любили искренне. После слов капитана первого ранга о том, что всем нам не больше чем через сутки предстоит расставание с училищем, с Владивостоком, который я полюбил, с Великим, или Тихим, океаном, таким притягательно-изменчивым, но неизменно величественным и манящим, наступило молчание. Помню, начальник совершенно по-отцовски, тревожно и проникновенно сказал:

– Краснофлотцы, офицеры, мичманы и старшины, сынки мои! Родине сейчас очень тяжело. Вы убываете на фронт, на священную войну с врагом. Будьте достойны добрых традиций училища, нашего доблестного Тихоокеанского флота. Бейте беспощадно фашистскую нечисть, и чем быстрее это сделаете, тем скорее снова вернетесь в училище для продолжения учебы. Счастливого пути, и обязательно возвращайтесь!..

От таких простых и заботливых слов комок подступил к горлу, глаза подернулись влагой. Мы не плакали, но слезы все-таки показались на глазах. Я испытал смешанное чувство тревоги и радости. Тревожила судьба Отечества. Как было не предчувствовать, что не всем, далеко не всем предстоит вернуться в стены училища, на тихоокеанский берег. А радость была от того, что мы отправляемся на фронт, что будем участвовать в разгроме ненавистного врага, приближая долгожданную победу. Такие вот мысли были у меня, пока стоял в строю на стадионе училища, в июле 1942 года. Из задумчивости вывело громовое «Ура!». Училищный оркестр исполнил вначале Гимн Советского Союза. Его мы выслушали молча. Затем – «гимн» Великой Отечественной «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой...» Все, кто был в строю, подхватили эту в высшей степени патриотическую проникновенную песню. Сколько раз, начиная с первых дней войны, я слышал «Священную войну» по радио, в исполнении фронтовых ансамблей, приезжавших на передовые позиции, в госпитали. Сколько раз пели ее самодеятельные артисты вблизи линии фронта, – и всегда эта великая песня вызывала в душе чувство щемящей боли за Отчизну и страстное желание драться до последней капли крови во имя Победы.

СНОВА НА ФРОНТ

...За неделю сформировались маршевые роты, мне присвоили звание старшины 1-й статьи (сержанта). В маршевой роте меня назначили командиром отделения. Но недолго пробыли мы во флотском экипаже на «1-й речке» вблизи Владивостока. Вскоре рота за ротой погрузились в теплушки поданного к перрону Владивостокского вокзала воинского эшелона. Рота за ротой заполнили оборудованные внутри пульмановских вагонов («сорок человек, восемь лошадей») двухэтажные нары. И помчался литерный состав по «зеленой улице» на Запад, все ближе и ближе к фронту. Недавним курсантам, а ныне морским пехотинцам оставалось только гадать: куда едем? что ждет нас впереди? На все эти и многие другие вопросы вскоре сурово ответила наша военная судьба.

...Открыты двери теплушек, запах тайги врывается в вагоны. Недавние краснофлотцы, плотно пообедавшие огненно-красным борщом и макаронами по-флотски, курят папиросы «Беломор». И после все до одного засыпают под бесконечный убаюкивающий перестук вагонных колес. Изредка доносится густой паровозный гудок: «У-у-у, ребята! Везу вас, везу на фронт. Скоро привезу!»

Но привез нас воинский эшелон не на фронт, а пока лишь в село Верхний Уфалей Свердловской области. И первым человеком, встречавшим нас, оказался старший лейтенант Михаил Дмитриевич Кривопиша – помощник начальника штаба механизированной бригады. Позднее мы с Мишей крепко и навсегда подружились.

В Верхнем Уфалее мы проходили то, что называется начальной школой пехотинца. Когда же через полтора месяца начальство потребовало сдать форму и переобмундироваться, то большинство моряков, прослуживших на флоте по пять-шесть лет и чувствовавших себя истинными «морскими волками», просоленными от бескозырки до ботинок, ни за что не хотели расставаться с бескозыркой да и вообще с полюбившейся за долгие годы морской формой. На том построении, где командир бригады лично отдал приказ о переобмундировании, по просьбам «братвы» было разрешено оставить и бескозырки, и тельняшки, и «бляхи» – черные морские ремни с сияющей медной пряжкой, на которой выбит дорогой сердцу якорь. Когда морские пехотинцы в боях под Сталинградом и Курском надевали бескозырки и подпоясывали солдатские шинели черным ремнем с якорем, немцы обращались в паническое бегство.

Закончилось обучение в Верхнем Уфалее, и бригада передислоцировалась в подмосковное Костерево, влившись в состав формировавшегося в те дни 6-го механизированного корпуса. Позднее он стал 5-м гвардейским мехкорпусом. Жили мы в блиндажах. Занятия по боевой подготовке продолжались по четырнадцать часов в сутки, и – никакой передышки. Не было даже возможности побывать в Москве. И вспомнился мне 37-й год, когда я, шестиклассником, впервые поехал в столицу нашей Родины. Мать снаряжала меня, тринадцатилетнего, укладывала в кем-то одолженный потертый, обитый помятыми жестяными уголками фанерный чемоданчик, булку хлеба, бутылку молока, и мы ехали на железнодорожную станцию. Через Кировоград следовал поезд «Одесса – Харьков». И вот я – один в вагоне. Добираюсь до Харькова – недавней столицы Украины. Беспечно оглядываюсь на переполненном людьми харьковском вокзале, и вскоре стою в огромной очереди, чтобы закомпостировать билет.

К перрону подходит поезд «Симферополь – Москва», и я опять в общем вагоне. Но с каждым часом все ближе и ближе к цели моего путешествия. Сам себе кажусь сметливым и закаленным мужчиной, которому ничем все житейские невзгоды. И только почему-то очень жаль маму. Может быть, предчувствую ее печальную судьбу, да не знаю, не догадываюсь об этом?

Целая жизнь, нескончаемая, долгая-долгая, прошла после того лета 1937 года. А помнится все так, словно было это совсем недавно. Станция метро «Красные Ворота». Рядом с нею жил дядя. До его дома я добрался с Курского вокзала за пять копеек на метро – тогда его только-только пустили. В дядькиной квартире жили две семьи, одна комната была дядина. Дядя вскоре пришел с работы, встретил меня хорошо. Пошли с ним вместе в булочную: какой там выбор – не чета нашему провинциальному Кировограду. Дядя пообещал, что потом мы пойдем к тете Еве. Тетя работала кассиршей в столовой, а молодой ее муж учился в Московском электротехническом институте связи. Жили они, как сейчас помню, на улице Дурова. Зачем память так долго хранит эти мелкие подробности давным-давно ушедшей жизни?

Намного больше самой тети Евы меня интересовало метро. Я объездил все к тому времени открывшиеся станции. Сейчас, наверное, это уже невозможно. А тогда – выходил на каждой станции, и каждая была для меня чем-то вроде необыкновенного музея. Вскоре очутился в летней праздничной толпе около Центрального телеграфа на улице Горького – Москва встречала челюскинцев. Машины с ними шли от Белорусского вокзала. В воздухе летали белые прямоугольники приветственных листовок. Повсюду стояли румяные загорелые милиционеры в белых шлемах с козырьком, в белых нитяных перчатках и до хруста накрахмаленных гимнастерках.

На стадионе «Динамо» вместе с пылкими московскими болельщиками смотрел футбольный матч, бродил вокруг Кремля, слушал настоящий бой часов на Спасской башне, смотрел на смену караула перед Мавзолеем. К нему выстраивались страшные очереди. Попал и в Третьяковку, и в театр оперетты, даже спектакль во МХАТе смотрел. Помню себя на каком-то поэтическом вечере в Политехническом музее, но кто читал стихи, кого приветствовали москвичи шумными аплодисментами, вспомнить теперь не могу...

Спустя много лет с благодарностью вспоминаю своего московского родственника. Если бы не он, разве хватило бы у меня, елисаветградского мальчишки с сумасшедшей любовью к реке, к бедным и таким дорогим сердцу развлечениям городской детворы, терпения три месяца ждать своей очереди, чтобы взять в руки растрепанную, пухлую от ветхости книгу «Остров сокровищ» Стивенсона? Я читал ее, забыв обо всем на свете. Каждая строчка этого замечательного приключенческого романа переполняла ранее не знакомыми чувствами. И никакие силы не могли оторвать от захватывающей истории, пока не перевернул последнюю страницу книги.

Возвращался в Кировоград малолетним франтом – дядя купил мне в магазине синие фланелевые штаны и такую же куртку с двумя накладными карманами. А под её воротником каждый мог увидеть фирменный москвошвеевский ярлык. Не забыл и о матери. Купил ей в подарок разную мелочь, вроде модной полукруглой гребенки, цветастого платка с крупными черно-красными розами по зеленому фону. Обрадованная донельзя сыновним вниманием, мать, тем не менее, ворчала

с притворной досадой, что, мол, деньги потрачены зря, что лучше бы купил что-нибудь себе. Так говорят все матери. Наверное, поэтому больно вспоминать спустя много лет, когда она давным-давно покинула этот мир, её бесконечную заботу, ту самую бескорыстную заботу, которой после никто меня не баловал.

ПЕРВАЯ НАГРАДА

...А мы все еще в резерве. Наш шестой корпус все готовится и готовится к фронтовой жизни. К тому времени нам вручили Боевое знамя. Случилось это в ноябре. Тогда же, в ноябре, бригада погрузилась в воинский эшелон и несколько дней ехала по направлению к фронту, пока не выгрузились на станциях Иловлинская, Абганерово, Калач.

Совершив марш в окрестности станции Абганерово, в начале третьей декады декабря бригада приняла, как писали тогда военные корреспонденты, «боевое крещение». Меня назначили помощником командира взвода отдельной роты автоматчиков...

Наша бригада бросилась в лобовую атаку на село Пимен-Черни, чтобы выбить оттуда немцев. Ничего не вышло: атака захлебнулась... кровью, солдатской кровью. Командир бригады приказал танковому батальону вместе с приданной ротой автоматчиков, той самой, где я был помкомвзвода, обойти Пимен-Черни слева и нанести немцам удар в спину.

Морозные декабрьские предрассветные сумерки. Окраина села, к которому мы подбираемся скрытно, смутно чернеет впереди. За полкилометра до нее десантники спрыгивают с бортов танковой брони и вслед за машинами, сторонясь снеговых струй, вылетающих из-под вращающихся танковых гусениц, идут навстречу врагу. Прошли по вязкой снежной целине метров сто – сто пятьдесят, не больше. Окраинные деревенские дома стали видны отчетливее. Мы даже различили одиночные вражеские траншеи. Заторопились, заспешили, но тотчас из этих траншей понеслись пулеметные очереди. Плотный автоматный и пулеметный огонь противника прижал нас к земле. Рота залегла в степных сугробах. Мы видели, как горят наши танки, подожженные немецкими артиллеристами.

Командир роты приказал окопаться, дозарядить автоматы, приготовить гранаты и быть готовыми к новой атаке. Вскоре последовала команда: «Вперед!..» Младший лейтенант Анучин, командир нашего взвода, храбрый, отчаянный офицер, первым встал во весь рост и побежал к деревне. Недолго бежал. Встречная пулеметная очередь в ключья растерзала грудь отважного командира.

Я видел лежащего в снегу окровавленного и мертвого младшего лейтенанта, других убитых бойцов в простреленных шинелях. К запаху пороховых газов примешивался еле-еле ощутимый запах горелого шинельного сукна. Понял, что пришел мой час. И точно. По цепочке старавшихся не поднимать головы автоматчиков передали новый приказ командира роты: помкомвзводу принять командование взводом, уничтожить две пулеметные немецкие точки и обеспечить продвижение роты.

Наш взвод занимал позицию на правом фланге роты. Эти два пулемета были словно кость в горле. Из-за них вся рота лежала в снегу и погибала вблизи деревни Пимен-Черни. Кричу, страшась потерять голос: «Командую взводом! Слушать мою команду!..» Третье отделение незаметно проползло по дну оврага к забору

на деревенской околице. Вдоль него подобрались в предутреннем полумраке к немецким пулеметным гнездам. Остальные автоматчики ждали. Прошло долгих, нескончаемо долгих восемь-десять минут, пока не загремели взрывы, и стрельба очередями оборвалась. Тишина. Обрадованно вскочили, ни о чем другом не думая, кроме как бежать вперед, во что бы то ни стало вперед, пока нет встречного немецкого огня. Мой друг Петя Чантурия специальными клещами перекусывал колючую проволоку ограждения, разминировал проходы, чтобы никто из наших автоматчиков не подорвался на заминированном деревенском поле.

Потеряв злосчастные пулеметы, немцы вскоре спешно бежали из села Пимен-Черни. Рота открыла дорогу всей бригаде. А младший лейтенант Александр Петрович Анучин, только-только выпущенный из пехотного училища, остался, как и многие другие красноармейцы, на поле недавнего боя.

За бой у села Пимен-Черни меня наградили орденом Красной Звезды.

Вспомнились мне тогда отец и мать. К тяжело больному отцу приезжал его фронтовой друг, награжденный орденом Боевого Красного Знамени еще в годы Гражданской войны. Мне так хотелось, чтобы и у меня был такой же орден. Хотелось потому, что это, как мне тогда казалось, чрезвычайно обрадовало бы моих родителей. Отец болел туберкулезом, его подкосили последствия ранений и контузий в Гражданскую войну, долгие годы жизни впроголодь. Кровь шла горлом. Говорили, что нужен собачий жир. Мать договорилась с собачниками. Сама вытапливала будто бы спасительный собачий жир. Но это народное средство не помогало. Как не помогали ни сливочное масло, ни мед, ни алоэ, ни дорогое какао «Золотой ярлык», замечательный вкус которого помню с тех самых горестных времен. Продавали взамен всё, что можно было продать: обручальные кольца, мало-мальски сносную одежду, но отцу становилось все хуже и хуже.

До своей последней болезни отец работал на зерноприемном пункте. Я приходил к отцу с торбочкой, которую сшила мать. С торбочкой и маленьким веничком. Этим веничком сметал в торбочку пшеничные зерна, упавшие с машин или повозок. Мать дома просеивала мою невеликую добычу. И как же была вкусна горячая рассыпчатая пшеничная каша, сваренная на воде с солью. А когда отец пошел работать грузчиком на маслозавод, нам стали доставаться шершавые плитки макухи, то есть жмыха. Это вообще было самое настоящее пиршество.

Но вот отец лежит в самой бедной больнице, в Новониколаевке на окраине Кировограда. Октябрь 1936 года. Я навещаю отца в больничной палате. Страшно худой, с ввалившимися щеками, весь бледный, с воспаленными глазами, он долго-долго не отпускает мою руку и говорит-говорит, а у самого катятся и катятся слезы из глаз.

Отец тихо шепчет, что все будет хорошо. Говорит, чтобы я слушался мать и обязательно получил высшее образование. Очень высоко ценились тогда образованные люди. Человек, который просто-напросто имел десятилетку, уже считался как бы выше рангом. Что тогда говорить о закончивших институт. Они, считай, достигали высшей жизненной цели. Вот и умирающему отцу хотелось, чтобы его любимый Лёнечка добился в этой нелегкой жизни самого главного.

Настали ясные-ясные последние дни октября. Чистая сухая осень Украины радовала глаз. А в нашей семье позабыли улыбаться. Я занимался в первой смене. И рано утром направился в школу. Кое-как отсидел на уроках и заторопился домой. Соседка тетя Фрося сказала, что мама пошла к папе. Мною овладело

страшное беспокойство. Не находил себе места. Все время выходил за ворота, садился на лавочку, смотрел на спуск к городу. Там-то и была дорога, по которой мама должна была вернуться из больницы. И как-то пропустил мгновение, когда возвратилась мать. Смотрю, она медленно-медленно открывает калитку, входит во двор. Я бросился к ней, она зарыдала и обняла меня: «Леонид, нет у нас больше отца». Шестьдесят с лишним лет прошло с того страшного дня, но стоит мне вспомнить его, но могу сдержать слез.

Смерть отца для нашей семьи была тяжелым ударом. Соседи помогли похоронить его. Из родственников приехал только дядя Давид, тот самый, что жил в Малом Харитоньевском переулке в Москве, который, подарив мне часы, сказал матери, чтобы она отправила меня на следующий год в Москву.

Мы остались почти без средств к существованию. Мать работала ученицей токаря на Кировоградском заводе «Красная звезда», выпускавшем сеялки и другие сельскохозяйственные машины. Возвращалась с работы – руки в ссадинах и порезах, в машинном масле. Ее было жалко, и я старался помочь, чем только можно. Научился готовить борщ. Мать особенно любила борщ с фасолью. Блины пек так, словно закончил кулинарную школу. Старался хоть как-то облегчить тяжелую вдовью участь матери.

...Столько лет для всех советских людей первый день мая оставался самым светлым праздником. Что же говорить обо мне, на всю жизнь запомнившим 1 мая 1943 года. Тогда Военный Совет 5-й гвардейской танковой армии вручил корпусу гвардейское знамя... Оркестр играл марши. Командир корпуса, встав на одно колено, обнажив голову, торжественно поцеловал краешек знамени. Бойцы корпуса чеканным церемониальным шагом прошли, держа равнение на знамя. От имени всех гвардейцев командир клялся самой жизни не щадить ради победы над врагом.

Потом вручали награды. Подошла и моя очередь. Слышу: «От имени Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старший сержант Гирш Леонид Юзефович, командир взвода отдельной роты автоматчиков 12-й гвардейской механизированной бригады, награждается орденом Красной Звезды».

Нужно было четким строевым шагом подойти к столу, откуда брали коробочки с орденами и медалями и прикрепляли к гимнастеркам. Горло мое сжалось от необыкновенного волнения, ноги стали чужими. Парадно печатая шаг, подошел к столу. Генерал посмотрел на меня, все понял, по-отечески просто и почти нежно улыбнулся. Тихо сказал:

– Ну что, гвардеец-морячок, вручаю тебе высокую правительственную награду, поздравляю сердечно, носи ее с честью и будь жив.

Хорошо, что вся церемония продолжалась несколько минут, а то пришлось бы генералу увидеть мои слезы. Но, слава богу, я справился со своими чувствами.

Когда корпусной командир прикрепил орден Красной Звезды к моей гимнастерке, крепко пожал руку и весьма чувствительно хлопнул по плечу, я громко выкрикнул: «Служу Советскому Союзу!» Отошел от стола этаким бравым солдатом, храбрым молодцем, которому нипочем огонь, вода и медные трубы и которому не впервой принимать на грудь разные там почетные знаки отличия.

Радости моей не было предела. Для нашего Кировограда, как и повсюду в довоенные времена, орденоседец был большой редкостью. Человека с орденом на

грудь окружали почетом и повседневной славой. Как мне хотелось в те минуты, чтобы меня, простого кировоградского паренька, увидела мама, как я мечтал, чтобы это сбылось... Я так часто скашивал глаза на рубиновую орденскую звезду, чем-то напоминавшую звезды на кремлевских башнях, что шея заболела. Раскрывал орденскую книжку, и все не верилось, не верилось... Немало наград получено мной за долгую жизнь, но первая – самая незабываемая...

Да, памятным стал для меня тот май 1943 года. Месяц еще не закончился, как вызывают к командиру бригады. Смотрел на меня полковник Борисенко молча, пока я по всей форме отрапортовал о прибытии. Потом вышел из-за стола и торжественно сказал: «Приказом командующего армии вам, товарищ Гирш, присвоено воинское звание “младший лейтенант”. Поздравляю с первым офицерским званием, желаю успешно служить!..»

Покончив с официальной формулой, Григорий Яковлевич по-родственному перешел на «ты»: «Парень ты молодой, дерзкий, энергичный, быть тебе генералом! Возьми погоны». И полковник протянул мне новехонькие, чистенькие, только-только с воинского склада, полевые погоны с узенькой продольной красной ленточкой, с маленькой золотой звездочкой посередине. Посмотрел, какое впечатление произвели они на меня, с лукавой хитринкой в голосе прибавил: «Вот видишь, полоску убрать да звездочку покрупнее – вот тебе и генеральские погоны. Стремись, младший лейтенант!..»

Пригласил к столу, стал расспрашивать: откуда родом, да кто родители, да где воевал. Душа и сердце отогрелись в командирском блиндаже. Не зря нашего полковника все звали «батеи». За доброту, за душевность. Прощаясь, Григорий Яковлевич сказал:

– Война, брат, суровая жизненная школа. Ты хорошо воюешь, имеешь боевые награды. Жив останешься – после войны закончишь академию. А теперь нам с тобой одну высшую школу кончать – академию войны. Придется до победы сражаться. Так-то, брат!..

Поблагодарил я командира, шагнул за порог и попал в дружеские объятия.

– Лешка! От души поздравляем. Теперь ты – настоящий офицер, а по традиции требуется звездочку обмыть, тогда она будет держаться крепко.

Нашлись к случаю и водка, и закуска. Зашли в хату, хозяйка тотчас накрыла на стол, и вскоре передо мною стоял полный граненый стакан, на дне которого светилась моя первая офицерская звездочка.

– Дорогой Леша! – начал Петя Заморин, начитанный и обожающий философствовать лейтенант. – Наш боевой друг и товарищ, ты теперь свой в дружной офицерской семье. В старой русской армии самый младший офицерский чин был «прапорщик». И золотопогонная братия пренебрежительную поговорку сочинила: «Курица – не птица, прапорщик – не офицер!» Да мы-то знаем, какая шушера ходила тогда в высоких чинах. Зато в Красной Армии младший лейтенант – это совсем другое дело: ты всем равен, и никто тебе пренебрежительного слова не скажет. Желаю дослужиться до самого высокого звания, чтобы мы остались живы и победили. Будь здоров, дорогой!

Остальные, пусть и не столь высокопарно, поддержали Петю своими здравницами. Я поблагодарил друзей, выпил положенный стакан и зубами достал из него мокрую, пахнущую спиртом мою первую офицерскую звездочку. Ребята захлопали в ладоши и прикрепили к гимнастерке офицерские погоны.

Так я стал полноправным офицером. Однако мои отношения с бойцами взвода несколько не изменились. Добросовестно исполнялись всеми мои распоряжения – и молодыми солдатами из пополнения, и старослужащими, вместе с которыми прошел сквозь кровопролитный ад сталинградских боев. Со «сталинградцами» вообще были самые доверительные отношения: ничего друг от друга не скрывали, даже письма читали вслух. А приходили письма не многим. Я, к примеру, первое письмо на фронте получил только в сентябре 1944 года. Да, никакой перемены в отношениях между мной и моими бойцами не случилось. Лишь шел теперь в общий взводный «котел» мой офицерский дополнительный паек.

Более столетия прошло после того застолья, когда я с друзьями обмывал первое офицерское звание, и теперь знаю, что нет на свете ничего крепче фронтового братства. Кто хочет знать, как могут, несмотря на прошедшие десятилетия, невзирая на различные звания и служебное положение, сохраняться искренность, братские чувства, смотрите «Белорусский вокзал».

ИЗ БОЯ – В БОЙ

...Казалось, что давным-давно мы разгружались на станции Илавлинская. Столбик термометра опустился тогда ниже тридцати градусов, выбирались из замороженных «тепушек» ночью, кругом – темно, прятались за какие-то штабеля, чтобы не так донимал ветер, а он в сталинградских степях пронизывает до костей. Кое-как разгорнули снег около этих самых штабелей. Непонятно, что это такое было, да бог с ним, спать хочется смертельно... Заснули в валенках, не снимая трехпалых солдатских рукавиц, а проснулись... среди трупов. То были мертвые немцы. Почертыхались, обложили покойников, в обществе которых переночевали, крепчайшими русскими терминами, не записанными ни в одном боевом уставе, да и отправились восвояси. К стоящей неподалеку колонне танков.

Да, незабываемый Сталинград! Весь день без горячей пищи. Ее привозили только ночью, и темнота не мешала догадываться, что к позициям подъехала полевая кухня. Оттуда плыл благословенный, пьянящий сердце вконец изголодавшегося солдата густой аромат горячего супа. А днем, – в окопах, где ноги застывали до деревянной нечувствительности, где высунуть голову означало распрощаться с жизнью, – чтобы утолить голод, поступали очень просто: саперной лопаткой разрубали консервную банку на четыре части. Покореженную жесть выбрасывали, а кусок мерзлой перловой каши с мясом сосали, как леденец. А о саперной лопатке можно оду сочинить. Наверное, кто-нибудь и сочинил: именно она, а не противогаз, который никому не пришлось ни разу надеть за всю войну, была истинной спасительницей солдата. Никогда не забыть мне, как бегу в атаку, а на ходу прижимаю к сердцу сталь саперной лопатки – авось защитит меня от прямого попадания пули или снарядного осколка.

Бой под Пимен-Черни – один из эпизодов той беспощадной войны, один из тех, что сохранила память, что записан то ли в «Истории Великой Отечественной войны...», то ли просто в рукописной истории воинской части. И сколько их было, этих эпизодов!.. На реке Маныч подбили танк лейтенанта Семиденко. Командир снял с подбитой машины пулемет и вместе со своим экипажем бросился в рукопашный бой с окружившими танк врагами. А когда немецкий офицер собирался

выстрелить из парабеллума в лейтенанта Семиденко, танкист в яростной схватке отобрал пистолет у немца и застрелил его самого.

Экипаж лейтенанта Бибикова стал поистине легендарным. Танкисты остались без горючего, кончились боеприпасы. Бибиков и механик-водитель Шаторин, его боевой товарищ, отстреливались до последнего патрона, а потом задраили танковые люки и подожгли беспомощную машину. Из дыма и пламени слышались слова: «Гвардейцы не сдаются!» и «Вставай, проклятем заклейменный...»

А моего друга Петю Чантурия настигла беда. В нашей роте, как и полагалось, было разведотделение, в нем-то и проходил службу Петр. На минных сталинградских полях мы потеряли много бойцов. Отделение получило приказ: разминировать два-три прохода к переднему краю. Поползли разведчики по снегу, автомат на спине, трехпалые рукавицы, в них и приходилось ощупывать подозрительные бугорки, стараясь найти предательский волосок противопехотной мины. Обезвредил Чантурия несколько мин, а на одной, коварно притаившейся в смерзшихся комках снега, все-таки подорвался. Оторвало ему кисть правой руки, которой он и пытался нащупать смертельно опасный предмет, выбило глаз. Притащили моего друга в медсанбат всего окровавленного. Из руки с оборванными сухожилиями хлестала кровь. И долго, очень долго не знал я о дальнейшей судьбе моего задушевного друга...

Отступали немцы, жестоко обороняясь. Мы преследовали противника на грузовиках. Танков не было, подбитые машины оставались позади, в тыловых порядках корпуса. Фронтная «полторка», как могла быстро, двигалась по глубоким колеям накатанной зимней дороги. Кто же знал тогда, что чуть в стороне, в нескольких сантиметрах от дорожной колеи, нас уже дожидается противотанковая мина.

В кузове, прижавшись друг к другу, сидели остатки двух взводов, в кабине рядом с шофером – старший лейтенант. А я кое-как пристроился на бортовой доске, с правой стороны машины. И не успел ничего понять и сообразить, как оглушенный грохотом внезапного взрыва, контуженный – голова потом гудела, как чугунная, – лежал в канаве, пытаюсь преодолеть приступ резкой тошноты. Кое-как встал, побрел к остаткам грузовика. К нему подходили уцелевшие бойцы. Все мы, кто был в кузове, остались живы. А шофера убило наповал, тело старшего лейтенанта, посеченное минными осколками, было бездыханно. Изуродованный двигатель валялся далеко в стороне, а передняя часть безнадежно искалеченной машины была безобразно оголена. Нам не оставалось ничего иного, как, матерясь и прихрамывая, брести дальше, туда, где в зимнем сталинградском небе изредка вспыхивали сполохи далекого сражения. Да, смерть на войне караулила каждого. И не всегда являлась она в обличье кусочка свинца, снарядного или бомбового осколка...

...Наступление под Сталинградом продолжалось. Ночью попали мы на казачий хутор Стояновский. Приказ: остановиться и расположиться на отдых. Осваиваемся в давно не топленном доме – каркасно-камышитовом строении с соломенной крышей. Нас терзает дикий непрекращающийся холод. Кажется, что промерзли до самых костей. Незадолго до остановки на хуторе попала нам по дороге тыловая часть румынской дивизии. Расколошматили обозников вдребезги и достались нам питательные трофеи: галеты, сахар, шоколад. А тут еще проворные наши моряки раздобыли где-то немецкие консервы с беконом, даже лук нашелся; нарезали, разложили, позвали меня: «Угощайтесь, товарищ командир!...» Нашлась и выпивка: под стеной нашей комнаты стояли две двадцатилитровых канистры,

на которых виднелись четкой чернотой готического шрифта немецкие слова. «Что это?» – спросил я одного из бойцов. «Ром, товарищ командир», – спокойно ответил тот. «Крепок, хорош, попробуйте!..» «Ром» разлили по эмалированным и алюминиевым кружкам. Янтарная густая жидкость заманчиво-медово светилась в полумраке нашего фронтowego пристанища. Поднес кружку к губам, запах мне не понравился: сухой, едкий. «Напиток» отдавал каким-то неприятным металлически жестким привкусом, царапающим горло. Кое-как одолел грамм пятьдесят отставил кружку и выскочил на мороз, где меня вывернуло наизнанку. Я запретил пить фрицовскую настойку, но мой совет не был воспринят всерьез. И для моих моряков все кончилось намного хуже – пять человек отравились насмерть. Янтарная жидкость в трофейных канистрах оказалась антифризом, который заливают в машинные моторы, чтобы не замерзали, и о котором мы понятия не имели.

Пошел со страшной вестью к командиру роты. Тот выслушал, посочувствовал, но, как и полагалось, сообщил в контрразведку – СМЕРШ («Смерть шпионам»). Следователь СМЕРШа готов был отправить меня в трибунал, да заступились мои подчиненные, в один голос заявившие, что командир приказывал не пить, и сам был трезвым, как стеклышко. Большинство-то послушалось командира.

...Пока в землянке СМЕРШа дожидался решения своей судьбы, почему-то вспомнилось, как встречали однажды в нашей семье, когда еще не ушел из жизни отец, новогодний праздник. Отец принес небольшую елочку, причем принес тайком от меня. Так что когда я проснулся, увидел маленькую нарядную елочку, украшенную крохотными игрушечками и конфетами в пестрых обертках. Тут были и «маковки» в виде ромбика – это густая патока, посыпанная сверху суховатыми, необыкновенно вкусными черными маковыми зернышками. «Маковки» были яркие, расписанные украинским орнаментом. Мама испекла новогодний пирог – сладкий-пресладкий, такого больше в жизни мне пробовать не доводилось. А около моей постели лежали две книжки: «Муха-цокотуха» и «Дядя Степа». Вот подарок так подарок, вот изумительный Новый год! Был я тогда учеником первого класса 20-й неполной средней кировоградской школы, где обучение велось на украинском языке. В ней проучился семь классов. Я был общительным, друзей во дворе имел много. Нам сдавали флигель Цуркановы, владельцы собственного небольшого домика, и мать соседнего семейства, Ефросинья Захаровна, относилась ко мне с благосклонностью, все время пыталась подкормить: «Лёня, зайди, пирожком угощу!..» Я стеснялся и старался не попадаться Ефросинье Захаровне на глаза. Но вспоминаю ее с величайшей благодарностью.

Жизнь тогда была бедная-бедная: хлеба по месяцам не видел. Недалеко от нашего дома тянулись огороды, на которых я, как и многие мои сверстники и товарищи по детским играм, поздней осенью добывал какое-нибудь пропитание: мерзлую полусгнившую картошку, забытые подсолнухи, из которых синицы еще не успели выклевать все зерна. Эта дармовая еда радовала, а вот когда совсем становилось невмоготу, я спускался на берег Ингула, туда, где раскинулся огромный парк, старинный, разбитый задолго до революции. Мама посылала меня и просила набрать побольше коры от старого дуба. Кухонным ножом отковыривал куски коры от толстого, в два-три обхвата, дубового ствола и приносил маме. Она толкла в старинной чугунной ступке кору, потом эту коричневатую-серую муку смешивали с отрубями и пекли оладьи. Эти «оладьи» разваливались, но приходилось есть, потому что больше никакой еды не было. В 1932–1933 году голод

на Украине был беспощадный. Это постоянное, почти никогда не исчезающее чувство голода – тяжелое, изнуряющее душу испытание. Спасибо соседям, иной раз выручали – давали в долг без отдачи глечик молока. Этот глечик спасал в те времена, когда ночами простаивали в очередях за хлебом, чтобы получить по карточке одну-две буханки. Но часто приходилось уходить с неиспользованными карточками в руках – хлеба не было.

Дошатая уборная, как и ящик для мусора, стояла на краю двора и была общей на всех. В городскую баню мы ходили два раза в месяц. О том, чтобы помыться дома, и речи быть не могло. В доме не было воды – не то что горячей, и холодной тоже – радовались тому, что колонка не так далеко. Правда, вспоминать это невесело, а в детстве ко всему относишься иначе. Скажем, мы обожали играть в футбол, часами гоняли «мяч» по любому пустырю, который был вблизи школы или позади греческой церкви, что стояла как раз посреди школьного двора. «Мячом» мы называли кое-как зашитый кусок старого чулка, набитый отслужившим тряпьем. Естественно, что и футбольными воротами служили обыкновенные булыжники...

ЗА СТАЛИНГРАД!

...Конец января 1943 года. Группировка Паулюса полностью окружена. Внезапно в правый фланг нашей армии врезается другая немецкая группировка под командованием генерал-полковника Манштейна. Немцы стремились соединиться с окруженными дивизиями Паулюса, атаковали решительно и беспощадно, сметая все на своем пути. А противостоял этому железному натиску наш 5-й гвардейский механизированный корпус, против которого в развернутом боевом порядке сражались фашистские танки, бронетранспортеры. Немецкая артиллерия, не жалея снарядов, била и била по нашим войскам. Огневой налет сменялся налетом. Так что этот скрытый маневр был хорошо продуман немцами. Наша авиация из-за нелетной погоды ничем помочь нам не могла. Летчикам приходилось переживать на прифронтовых аэродромах отсутствие видимости. Низкая облачность не давала возможности нашей авиации помочь стоявшему насмерть гвардейскому корпусу.

Над Сталинградскими полями, над заснеженным приволжским пространством тянулся жирный черный дым: кругом горели подбитые прорвавшимися немцами советские танки и бронетранспортеры. Рядом и поодаль лежали наши павшие солдаты. Лежать бы там, в пропитанных кровью и порохом снегах, и мне...

Фашистские танки стремительно пересекают чистое поле. Слышится команда: «Приготовиться к отражению атаки!..» Но гранат нет. У части бойцов не выдержали нервы – без гранат против танков – верная гибель! Страх победил – без команды помчались прочь по чистому полю, где ни деревца, ни столбика, ни строения, к небольшому лесочку, что виднелся километрах в трех от нас. Что было делать остальным, оставшимся один на один с прорвавшимися фашистскими танками. Стали спасаться бегством и мы...

Бегу в пропитанной потом фуфайке, лицо будто в огне – так жарко. Морозный воздух раздражает легкие. Автомат – со мной. Бежать в ватных штанах тяжело, сбросить бы, да разве остановишься! Вот и лесочек! К нему, спасительному! Оглядываюсь: с правой стороны немецких танков будет побольше. Кричу: «Ребята!

За мной!» – и кидаюсь влево. Часть красноармейцев бросилась за мной. Свист пуль, снарядные разрывы, бегущие тяжело дышат, рты распалены, жадно хватаем воздух. Скатились в какую-то балку, стали не видны противнику. Из немецких танков, скорее всего, не заметили, куда мы бежали. Грозное урчание танковых моторов постепенно затихло вдаль.

Спаслись чудом. Я чувствовал себя так, словно в рубашке родился. Никакого прикрытия нашего беспорядочного бегства и в помине не было. Остановит спасающуюся в панике «армаду» – и думать нечего. Как я добежал до лесного острова, когда рядом и справа, и слева падали солдаты, убитые наповал, раненые?! Инстинкт самосохранения отменил все приказы, и над беглецами не были властны ни обыкновенные слова, ни матерная ругань. Пишу горькую правду. На войне бывало всяко.

Осталось нас в живых тогда не больше половины. Стали осматриваться, приходиться в себя. Стрельба все тише и тише. Потом прекратилась совсем. Сидим на снегу мокрые от пота. Начинаем мерзнуть: фуфаечки-то без воротников. У кого шапки уцелели, опускают «уши», завязывают тесемки. Отправились искать раненых, но все были мертвы – танковые пулеметы стреляли крупнокалиберными разрывными пулями. Поснимали с убитых противогазы, автоматы.

Я, промерзший, невероятно уставший, беспокоился об одном: только бы все оружие нашлось. Строгости с ним были чрезвычайные. К подбитому танку, например, возвращались, составляли рекламацию, рисовали схемы. По ночам за искалеченной техникой отправлялись танковые тягачи. Поврежденные машины и орудия доставлялись на железнодорожные станции, отправлялись в тыл, на военные заводы.

А противогазные сумки использовали, чтобы хранить там боекомплект: автоматные патроны россыпью, сухари, сахар-рафинад да еще верного друга солдатского – табачок. Особенно хороша была и больше всего ценилась на фронте сладкая и душистая моршанская махорка: «Эх, махорочка-махорка, породнились мы с тобой. Впереди стоят дозоры зорко, мы готовы в бой...»

Но сейчас мы только зубами скрипели, вспоминая горьковатый, согревающий душу и сердце солдата табачный дымок. На пять человек – все, что осталось от взвода, – нашлась всего-навсего одна банка тушенки. Разрезали штыком, разделили по-братски. Кое-как раздобыли сухого хвороста. Мучились, мучились, высекая самодельным огнем искорки. Ветки тлели на снегу, костер никак не налаживался. И все же в овраге, в Сальских степях зимы 1942–1943 года, запылал наш небольшой костерок. Мы набирали чистый-чистый снег. Пригоршнями бросали его в два солдатских котелка. Согреть талую воду, конечно, удавалось чуть-чуть. Чай из самовара так и оставался далекой мечтой.

Да, крепко врезал нам тогда Манштейн, пробивавшийся к окруженной группировке Паулюса. И все-таки его операция по деблокированию захлебнулась. Наш 5-й мехкорпус был введен в горловину прорыва, на юго-западе от Сталинграда. Получив подкрепление, мы в долгу не остались. Дрались с врагом отчаянно.

9 января 1943 года корпусу присвоили звание Гвардейского. Гвардейский значок на гимнастерке, двойной оклад. Сразу выстроили личный состав и объявили приказ Верховного Главнокомандующего.

А 27 января корпус стал именоваться Зимовниковским. За тем, чтобы без внимания не оставалась ни одна операция, Москва следила строго. И действо-

вала очень оперативно: на фронт привозили медали, ордена. Их вручали перед строем или объявляли благодарность от имени Верховного Главнокомандующего. Не забывали и тех, кого не досчитывались в нашем гвардейском строю. После боев замполиты писали письма женам и матерям павших за честь и независимость нашей Родины. Они писали, что храбрый солдат, отдавший жизнь за Отчизну, навечно останется гвардейцем, что мы, его боевые друзья, никогда не забудем его.

...Это сейчас, на старости лет, все чаще и все пронзительнее вспоминаются те давние-давние годы, словно не осталось за плечами более семидесяти пяти лет. А тогда времени и возможности для того, чтобы вспоминать, почти не было. 2 февраля 1943 года Паулюс, подняв руки, вышел из сталинградского подвала. Акт о капитуляции сталинградской немецкой группировки подписан. Манштейна, что рвался выручить стиснутых стальным кольцом окружения немцев, отбросили в зимние сталинградские степи. В первой декаде февраля закончились основные бои.

Но подходили к концу и наши силы. Наступление выдыхалось. Немцы отошли к Батайску и Ростову, мы овладели Зимовниками – крупным железнодорожным узлом на юге России. В то время я командовал взводом и собственными глазами видел, как много танков терялось, как уходили они под лед при переправе через степную реку Маныч. Преследуя отступающих немцев, на хуторе Стояновском мы напоролись на оборонительный рубеж. Пока разворачивалась наша танковая атака, пока бронемашин пытались преодолеть немецкий оборонительный рубеж, противник вызвал по радио бомбардировщики, и прилетевшие «юнкерсы» хладнокровно стали бомбить хорошо видные с воздуха на февральском снежном поле наступающие танки. Досталось и мне: одна бомба разорвалась рядом. Меня взрывной волной перебросило через танковую башню. Контузия, и, потерявший сознание, замерзаю в запорошенном копытю снегом, пока меня не подбирают санитары.

Отправили в корпусной медсанбат. Принялись лечить по всей форме – уколы, лекарства, белопростынная госпитальная койка – лежи себе, выздоравливай, чего спешить? Но я из медсанбата все-таки сбежал. Двое суток мотался по фронтовым тылам, пока не нашел свою бригаду, которая расположилась в Каменке. После контузии я еще толком не очухался. Отвечал невпопад и не сразу. Соображал слабовато и, видя мою невольную рассеянность, сослуживцы оставили меня в покое. Тем более что наступила пора кратковременной передышки между боями. Все ждали нового приказа. Штабные писаря занимались обычным делом, выясняли, кто погиб, кто пропал без вести...

Еще в медсанбате порою, когда становилось полегче и не столь сильно мучила тяжелая головная боль, вспоминал недавнее прошлое из юношеских лет, проведенных в родном городе на берегу Ингула.

...После возвращения из Москвы поздним летом 1937 года муж маминой сестры Ани, работавший в «Заготживсырье», пристроил меня учеником кожевника. И в один прекрасный день я приступил к своим обязанностям. Из стопки свиных и коровьих шкур брал одну, укладывал на специальный станок, что-то вроде низкого полукруглого стола, обитого жестью, и остро-остро наточенным скребком, напоминавшим косу, счищал жир. Чуть-чуть заденешь кожу – штраф. Шкурные очистки бросал в ведро, их разрешали забирать до-

мой, и мать научилась из этого сала выжаривать замечательнейшие шкварки. Конечно, такое улучшенное питание здорово помогало приобрести и мускулы, и физическую силу.

Обработанную шкуру я кидал на специальный чистый подиум. Мастер проверял, а потом шкуру приходилось тонко-тонко посыпать солью, от чего руки разъедало страшно. Шкуру сворачивали по специальной схеме, которая все время висела перед глазами. Заготовку прокалывали щипцами с краю, и ладный пакет пахнувший бойней, с биркой на бечевке, отправлялся на склад. Вскоре я стал классным кожевником и, как только наступали летние каникулы, отправлялся знакомой дорогой на пункт «Заготживсырья», где мне всегда были рады и где всегда было готово рабочее место.

Так я заработал себе на костюм, купил рубашку, да и вообще мы с мамой стали жить сытнее. Как бы радовался отец! Чем взрослее я становился, тем больше возможностей подрабатывать отыскивалось. Вместе с приятелем писал на красном ситце цинковыми белилами лозунги. Тогда требовалось много лозунгов: то было время лозунгов, и заказов хватало. Однажды из музыкально-драматического театра имени Крапивницкого прибежал мой друг Коля – театру нужен помощник осветителя. И вскоре я стоял на третьем ярусе за осветительным прибором, менял в прожекторе цветные стеклянные пластинки. Однако недолго продолжалась моя театральная карьера, бесславно оборвавшаяся в самом начале. Я засмотрелся на то, что происходило на сцене, и замешкался, когда нужно было сменить пластинку. В зале было темно, и я никак не мог попасть в паз. Злополучное стекло вырвалось из моих рук и полетело вниз. Там оно в полной тишине разлетелось вдребезги с превеликим звоном и треском. Меня так же шумно выгнали из театра, что, впрочем, не очень-то и огорчило. Юность вообще не склонна переживать по поводу разных неудач, какие бы неприятности ни настигали. Тем более всегда хватало захватывающих занятий: в приречном кировоградском парке пропал на парашютной вышке, в стрелковом тире. Каким счастьем было получить значок «ворошиловский стрелок»!

Там, в парке, однажды произошло вот какое приключение. Сестра Коли, того самого, что привел меня на мое несчастье в театр имени Крапивницкого, Клеопатра, или, как все мы, ее сверстники, звали, Клира, изумительно красивая девушка, училась в медицинском училище. Она была в нашей компании, в которой ей очень нравился Павлик Марущак. Как-то подошел к нам крепко подвыпивший здоровяк, можно сказать, бугай бугаем. Клира произвела на него такое впечатление, что он с места в карьер решил стать ее ухажером. Это дело, конечно, Павлику не понравилось, тем более что неожиданный кавалер бесцеремонно приобнял опешившую Клиру. Запротестовавшего Павлика верзила откинул в сторону. Я бросился на защиту чести друга и его девушки.

Успел «съездить» нахальному незнакомцу по физиономии, но тотчас же получил такой ответный удар по скуле, что улетел в кусты. Правда, любовное настроение у парня пропало, и каждый из нас пошел своей дорогой.

За свою «осечку» мне было обидно и стыдно. Во мне кипела такая злость, что поступил в секцию бокса в обществе «Спартак». Занимался старательно, не пропускал ни одной тренировки, терпел все мучения, выпадавшие на мою долю. Даже сфотографировался в боксерских перчатках. И все это с тайной надеждой рано или поздно встретить своего обидчика и отомстить ему на всю катушку.

Дела мои шли довольно неплохо, даже победил на городских соревнованиях и завоевал право выступать на всеукраинских юношеских состязаниях. Впрочем, об этом я расскажу подробнее.

Довоенный Днепропетровск для провинциала из бывшего Елисаветграда был почти что столицей Украины. Там-то и проходили республиканские юношеские соревнования. Чувствовал я себя прекрасно, никакого грустного предчувствия и в помине не было. Но когда подлез под канаты и оказался на ринге, когда взглянул на своего противника, испытал холодок в области солнечного сплетения. Парень-полтавчанин был и старше меня, и ростом повыше, и помассивнее. Как я ни настраивался на серьезный бой, меня подкосила еще одна неожиданность: соперник оказался левшой... Шансы на выигрыш таяли с каждой минутой. Продержался до третьего раунда. Побывал в нокадауне, но поднимался со страстным желанием собрать все силы и провести прямой удар в подбородок, чтобы мой противник растянулся на ринге. Однако крепкий полтавчанин такой возможности мне не предоставил. Пока я маневрировал, чтобы улучшить мгновение и уложить соперника одной правой, он с такой силой врезал мне в переносицу, что моя боксерская карьера рухнула навсегда.

Свет показался не мил, пока лежал на ринге со свернутым носом, пока кое-как поднимался и плелся к табурету в углу, где мне оказывали первую помощь.

Да, мое возвращение домой никак нельзя было назвать триумфальным. Мама чуть в обморок не упала и, конечно, о том, чтобы продолжать тренировки в боксерской секции, речи быть уже не могло. Мама шутить не любила. И вместо тренировок начались визиты к врачам. Они старались, как могли. Вставили пластинки, и постепенно мое лицо обрело нормальное выражение. Спустя некоторое время печальная история с неудачным дебютом на днепропетровском ринге забылась.

Кстати, тонкая работа хирурга сильно понравилась мне тогда. Я начал задумываться, а не стать ли и мне спасителем в белом халате. Это желание окрепло на войне, когда после ранения в ногу очутился в госпитале. Осколок, прорезавший мышцу, чуть не привел к трагедии: нога зловеще почернела, и госпитальные врачи заговорили об ампутации. Я смотрел на харьковского профессора в золотом пенсне и плакал: «Как же на танцы пойду?..» Профессор внимательно осмотрел мою черневшую ногу и всё приговаривал: «Мы постараемся... Мы постараемся...» И когда меня положили на операционный стол, а золотое пенсне склонилось надо мной, то услышал совершенно страшное: «Резать будем без наркоза, потерпи. Палец прикуси и терпи...» И нога, которая вот-вот должна была погибнуть от гангрены, оказалось спасенной.

После этого некоторое время действительно грезил хирургической карьерой. Мне казалось, что стану прекрасным врачом, именно хирургом. Ведь я такой дотошный, внимательный к каждой мелочи. Делал бы операции скрупулезно, ни в чем не ошибаясь, ничего не пропуская. Но еще сильнее, чем стать хирургом, хотелось мне в детстве играть на скрипке. Я встречал на улице мальчиков и девочек с черными нотными папками на толстых шелковых шнурах. Эти юные музыканты были всегда аккуратно одеты, причесаны и умыты. Они ничуть не были похожи на расхлёстанных ребятишек – друзей моего детства, вечно носившихся в рубашках с оторванными пуговицами, в мятых кепках, босоногих, с торчком стоящими вихрами над ясноглазыми лицами.

Я ныл и канючил, приходя домой, упрашивая маму купить мне такую же скрипочку в ладном, изящном, поблескивающем дорогим черным или коричневым лаком футлярчике, который застегивался бы на чудненький никелированный замочек, и чтобы к ручке был привязан крошечный ключик, который мне казался волшебным ключом Бурагино. Но мама молчала и только печально качала головой. Еще бы: мы по четыре-пять месяцев не могли заплатить за убогое жилье. Маза-ли пол кизяком – вот и весь ремонт. После такого «ремонта» я долго мыл руки но запах коровьего навоза не проходил. С ним не мог справиться малюсенький коричневый обмылок.

Вскоре поступил в стройтехникум, потому что там платили стипендию. Мне так хотелось хоть чем-нибудь помочь маме. Но еще долго приходилось прикручивать отстававшие подошвы стареньких ботинок тонкой медной проволокой, чтобы они окончательно не отвалились.

Не довелось мне стать ни скрипачом, ни хирургом. Все мечты остались где-то на бесконечных фронтовых дорогах. Душа загубела, но все-таки, как мне думается, сохранилась, не погибла. Когда кончилась война, мне исполнился двадцать один год. Я чувствовал себя сорокалетним, и смертельно хотелось иметь семью, и чтобы в семье росла дочка.

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Кончились бои под Сталинградом. Наш корпус перебросили в Воронежскую область, в район села Трехстенка. Корпусу, точнее, тому, что от него осталось, предстояло принимать пополнение, технику, вооружение да и вообще все. Эти тихие воронежские дни были всего-навсего передышкой. А впереди, и мы это знали очень хорошо, нас ждали новые бои.

Корпус влился в 5-ю Гвардейскую танковую армию, которой командовал генерал-лейтенант Ротмистров. Армия действовала в составе Степного фронта, командовал которым генерал армии Конев. На посту командира корпуса генерала Богданова сменил генерал-майор Скворцов – участник легендарных сражений на реке Халхин-Гол. Командиром нашей бригады стал полковник Борисенко. Он оставался им до конца войны и после, когда нашу воинскую часть направили в Туркмению.

Почему в книге, рассказывающей о моей жизни, я вспоминаю своих командиров? Почему так хорошо помню, кто командовал, в каком звании был? Мы, молодые люди того времени, своих воинских начальников любили самозабвенно. Боевой путь каждого знали наизусть, и как же мы ими гордились! Все поголовно были патриотами, страстно желали быть похожими на своих командиров. Кто голову брил, подражая любимцу, кто усы отпускал, кто собирал газетные вырезки из «Правды» и «Красной звезды». Там рассказывалось о наших славных командирах. Конечно, это не было слепой влюбленностью. Мы верили, что разум, храбрость, военная грамотность командира означают верное решение, а от него зависит наша жизнь. Более того, победа над врагом.

И мне, почти что юноше без военного образования, очень хотелось быть таким же, как мои старшие военачальники, хотелось в жестокой кровавой военной сече столь же душевно заботиться о своих подчиненных, так же достойно пройти тернистый путь испытаний, который прошли они. Моя военная судьба складывалась под знаком высокой любви к славным командирам.

Но все ближе и ближе придвигалось переломное сражение, главный бой Великой Отечественной... По раскисшим от мартовской оттепели степным дорогам прибывало пополнение: необученные, необстрелянные солдатики-новобранцы. Получал корпус и новую технику. Ту школу, которую теперь проходили новички ратного дела, не сравнить было с нашей давней подмосковной подготовкой. После боев под Сталинградом мы знали, как избежать при наступлении лобовой атаки, как применять обход и обхват опорных пунктов вражеского сопротивления, как точнее и надежнее поразить немецкую танковую технику, тем более что этой самой техники «трофейщики» притаскивали в немыслимом количестве.

Война не позволяла расслабиться и тогда, когда часть находилась вдали от линии фронта. Нас постоянно призывали быть бдительными, опасаться диверсантов и шпионов. В каждом подразделении был контрразведчик СМЕРШа. И секретность, тайна соблюдались со всей возможной строгостью. О том, чтобы нашелся изменник или перебежчик, и не думали. Но всё-таки припоминаю такое происшествие.

Конец мая – начало июня 1943 года... Каменка Воронежской области, автобронетанковый центр. Прислали пополнение, в основном механиков-водителей, которым предстояло пройти окончательную подготовку, чтобы сесть за рычаги танка. В танковом экипаже – пять человек: командир, заряжающий, наводчик, стрелок-радист и механик-водитель – специальность, надо сказать, дефицитнейшая. Обучить механика всем сложным премудростям танкового вождения не так-то просто.

Дело движется своим чередом: утром – развод, вечером – проверка. Выстраивается весь личный состав: «К вечерней проверке приступить! Командир первого отделения! Я! Петров! – Я! – Сидоров! – В наряде! – Иванов! – В госпитале!...» И так далее...

На одной из проверок, когда ничто вроде не предвещало трагедии, в строю, где как раз больше всего стояло механиков-водителей, внезапно разорвалась противотанковая граната. Земля пополам с огнем взметнулась прямо в строю, порядочно всех напугав. Среди механиков-водителей человек пятнадцать-двадцать от внезапного взрыва гранаты погибло или получило тяжелые ранения. Так что полторы-две роты (в танковой роте 10 машин) остались без водителей. Бросившего гранату нашли очень быстро. Он с крыши, откуда совершил диверсию, и спрыгнуть не успел.

Расстреливали шпиона – старшину противотанковой батареи, когда над степью плыла ранняя июньская жара. Мы стояли в строю, в том числе и те, кого задело осколками той проклятой гранаты. Перед строем, со связанными назади руками, в гимнастерке без ремня, с опущенной головой стоял диверсант, погубивший наших товарищей. Прокурор потребовал для изменника Родины смертной казни. Тотчас огласили приговор военного трибунала, и на наших глазах шпиона расстреляли.

...И все же на моей памяти подобное случилось лишь один раз. Вновь – бесконечные часы на учебном полигоне: как садиться на танк, как размещаться, как прыгать с несущейся на огромной скорости машины, как стрелять с нее по движущейся цели. Точности стрельбы добивались во что бы то ни стало: из положения лежа, сидя, стоя, в перебежках.

А после – залегали в окопах. На нас наезжали трофейные танки с крестами. Стальное брюхо машины закрывало белый свет, и тебе казалось, что несколько

мгновений длятся вечность, что больше не будет голубого неба, сейчас засыплет землей, и будешь похороненным заживо. Но гусеницы, подминая края траншеи, проползали, освобождая за собой весь мир, и ты вставал, выпрямлялся во весь рост и бросал на танковую броню макет бутылки с зажигательной смесью.

Если мы не стреляли и не сидели на танках или в окопе, то обучались рукопашному бою, метали в цель десантные ножи, совершали многочасовые марш-броски. Танкисты в рассветном или предвечернем полумраке, еле живые от физической усталости, вновь и вновь глазами и руками изучали полученную технику.

День сменялся ночью. Засыпали мгновенно и, казалось, просыпались не через несколько часов, а спустя пять минут. Зевота нестерпимо раздирала рот, но властные и нетерпеливые командирские голоса уже звали на развод. И вновь гремел, летел неостановимо новый солдатский день. Когда закаменеют мышцы, когда слипаются глаза над алюминиевой миской с кашей, когда после вечерней проверки сил остается ровно настолько, чтобы стащить запыленные сапоги и размотать и повесить сушить портянки, – самая жесткая подушка кажется родной и желанной.

...Тем временем деревья обзавелись свежезеленой праздничной обновкой – аккуратно вырезанными в великой мастерской природы листочками, которых с каждым днем становилось все больше и больше. Они шелестели и шумели, как море на рассвете. От пряного аромата сирени и жасмина сладко щемило сердце. Странно смотрелись на ярко-изумрудной траве громоздкие черные танковые машины. И рядом с гусеницами приветливо простодушно пламенели алые маковые лепестки. Бледными сиреневыми огоньками вспыхивали полевые цветы, названия которых мало кто знал.

На пашне хлеборобы осторожно разбирали нагромождения разбитой и сгоревшей техники, и перед земледельцами, смертельно истосковавшимися по мирной полевой работе, шли наши саперы с миноискателями, тщательно проверяя каждую пядь земли, недавно побывавшей в фашистском плену. И как же радовались крестьяне, когда поле вновь становилось чистым, прибранным, когда в распаханную борозду ложилось хлебное зерно, обещая по осени урожай, а значит, и жизнь, свободную от немецкого сапога.

Порою вечерами командование разрешало на время забыть о войне, о тяжелой подготовке к боям. Солдаты веселились на концертах, подпевали артистам фронтовых бригад: «Пришла и к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна...» Были среди нас и свои певцы и танцоры, декламаторы и лихие гармонисты. Шутники, заводилы, любимцы публики...

Эти вечерние концерты на весенней траве вблизи какой-нибудь избы непременно заканчивались бесконечными танцами. Девушек в селе было мало. Сестры, санитарки и врачи из ближнего медсанбата явились бы все с огромной радостью, но отлучиться могли немногие, так что нередко приходилось бойцам вальсировать друг с другом. Но полевая танцплощадка не пустовала, и под мелодию «Синего платочка» мы, конечно же, вспоминали дом, школу, друзей, подруг, матерей, братьев и сестер – все родное, что в прошлом было у каждого человека. Вспоминалось обо всем со щемящей грустью и очень-очень хотелось жить. На войне привыкаешь ко всему, но примириться с мыслью, что тебя могут убить, невозможно.

...ДОЖИТЬ БЫ ДО ПОБЕДЫ!

Летом 1943 года у всех на устах были Воронежский и Степной фронты, Белгородско-Харьковское направление. Стремительное контрнаступление Красной Армии привело противника в замешательство. Люди поверили, что победа, как говорил Верховный Главнокомандующий, рано или поздно будет за нами. И все-таки сердце порой остро щемило, и думалось с печалью: «Доживу ли до того дня, когда наши войска войдут в поверженный Берлин». И так хотелось знать, что с мамой, жива ли, как родные...

С каким восторгом узнавали мы из газет, из сообщений Совинформбюро, что в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода, старинных русских городов, прогремели двенадцать артиллерийских залпов из 124 орудий. Мы продолжали наступать на Харьков.

Тяжелая плотная жара степного августа... Горячий пот струился по запыленным лицам, гимнастерки промокали насквозь. Пыль повсюду, ее поднимают солдатские ноги. Она надолго повисает в воздухе и не оседает после того, как по дороге проедет грузовик или пронесется танк. И воевать при августовской жаре, кажется, еще труднее, чем прохладной весной или осенью.

Города Коротич, Люботин, Мерефа, пригород Харькова – Казачья Лопань – все это места, где гитлеровцы сопротивлялись отчаянно, ни одного метра не отдавали без кровавой схватки, в которых мы теряли и теряли боевых товарищей. И все же 23 августа над освобожденным Харьковом взвилось Красное Знамя. День этот вошел в историю как последний день великой Курской битвы. Всем на свете, в том числе и самим немцам, стало ясно, что теперь конец фашистской Германии неизбежен.

Кратковременная передышка на войне... Боже мой, сколько потерь! Сколько «похоронок» напишут писари, сколько женщин вскоре зарыдают от горя. Наш корпус теперь – в Дергачах, в 12 километрах северо-западнее Харькова.

Что сотворили фашисты с городом! Уцелевшие дома зияли пустыми оконницами. Осколки стекла хрустели под сапогами. Запах гари, казалось, поселился здесь навеки. На самую большую площадь Европы – площадь Дзержинского – страшно было смотреть. Искалечено здание Госпрома. Другие дома тоже разбиты снарядами или взорваны перед тем, как немцы покинули Харьков. Кругом – щебень, кирпичные обломки, обрушившиеся стены... И слезы, слезы: тысячи расстрелянных, тысячи угнанных в Германию, в немецкое рабство.

Но жажда жизни превозмогает все! Дней через десять мы с друзьями вновь приехали в Харьков. Изувеченный, израненный город начал преобразоваться. Из-под мусора показались расчищенные тротуары. Заблестели тщательно отмытые от грязи и копоти стекла. Появились вывески магазинов, парикмахерских. В наиболее людных местах закипела южная базарная жизнь, хотя, казалось бы, чем торговать. Но торговля шла бойкая – пачкой пайковой махорки, серыми кремешками для зажигалок, дюжиной спичек, армейским гороховым концентратом, мелким трофейным барахлом вроде алюминиевого портсигара, перламутровой зажигалки или замусоленной колоды карт.

Зазвучала мягкая родная украинская речь, и загорелые до черноты крестьянки предлагали огромные сливы с матово-сизым налетом, сочные, смуглые, в золотистых крапинках сладчайшие груши, полосатые арбузы, которые лопались, лишь

только тронь ножом, а то и просто – сдavi ладонями. Конечно, о довоенном изобилии приходилось лишь мечтать. Всего было мало, даже очень мало.

Шли мы по какой-то улице около театрального здания. Чудом оно сохранилось! У входа стоял табурет, на нем патефон, и с пластинки Литвиненко-Вольгемут задронно пела: «Та не буду я мовчать!..» Висела афиша – «Запорожец за Дунаем». Не верилось – оповещали о вечернем спектакле.

И мы помчались в часть, в Дергачи, отпроситься у командира. После этого возвратились в Харьков. Радости нашей не было предела, когда шли по весеннему городу, шли мимо кинотеатров, которые тоже открылись. У одного из них на стуле сидел аккордеонист, играл вальсы «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны», старинные русские мелодии. Неподалеку от театра нашли фотографию. Зашли, и старичок в потертой бархатной куртке, улыбаясь, приказал смотреть в объектив, из которого, по его словам, вот-вот вылетит птичка. Мы были при боевых наградах: в войну все – от маршала до рядового красноармейца – непременно носили ордена и медали...

Давным-давно отстроился Харьков, целая жизнь осталась за моими плечами, а фотография, на которой и я, и мои боевые товарищи, с которыми когда-то бродил по освобожденному вечернему Харькову и впервые за годы войны сидел в театральных креслах и слушал оперные арии, сохранилась. Только нет в живых никого, кроме меня. Почему-то именно мне досталась доля поминать добрым словом ушедших навсегда друзей.

НА СВЯЗЬ С ПАРТИЗНАМИ

Тот, кому довелось хоть краешком глаза видеть форсирование Днепра, тот, можно сказать, видел войну во всей ее страшной полноте. Как ни старались наши военные писатели, фронтовые журналисты передать, что там происходило, никому из них не удалось, пожалуй, показать весь ужас. Он не забыт мною и по сей день.

Была холодная военная осень, октябрь 1943 года. На реке не оставалось ни одного целого моста. Над мерным ее течением в обе стороны повисали обрушившиеся мостовые фермы. Виднелись искореженные взрывами «быки». Берега – правый и левый – были изрыты глубокими бомбовыми и снарядными воронками.

Днем и ночью армейские саперы наводили понтонные переправы. Порою последний понтон не успевал прикрепиться к противоположному берегу, как с левого начиналась спешная переправа. Ее прикрывали многочисленные зенитные установки. Над понтонной ниткой барражировали наши истребители. И все равно немецкая авиация ожесточенно рвалась к той или иной переправе. «Юнкерсы» «висели» над понтонами, по которым беспрерывно передвигались маршевые колонны, артиллерия, грузовики, танки. Маневрировать на понтоне – его ширина равнялась расстоянию между танковыми гусеницами – было невозможно. И если бомба попадала точно в цель, то через несколько мгновений и танк, и солдаты исчезали в днепровской воде, почти не имея возможности спастись. Той трагической картины мне никогда не забыть...

Но разорванная взрывами переправа тотчас восстанавливалась. Саперы – самых высоких слов не хватит, чтобы описать мужество этих незаметных, рядовых

тружеников войны, – работали самоотверженно. Без передышки, в изорванных пулями, осколками фуфайках, шинелях, гимнастерках, омытые водой истерзанной реки. То и дело схватывались с немцами, которые не собирались отступить без боя. Тяжелейшие арьергардные бои подтверждали, что и раньше было прекрасно известно: немцы – хорошие солдаты. Победа в этой войне простой и бескровной не будет.

Однако для Красной Армии эти страшные годы даром не прошли. Немцев били жестоко и беспощадно – гитлеровцы отступили из Кременчуга, Александрии, Новой Праги. Как же волновались те бойцы, которые в свое время оставили свои семьи во вражеском тылу. Теперь они сражались в местах, знакомых по мирной жизни с детства, узнавая еще на материнских руках виденный «садок вишневый била хаты», милый сердцу тополь, с которого по весне летит легчайший светло-серый пух. Тревога пополам с надеждой, что застанем своих близких несмотря ни на что в живых, – страстным желанием, о котором не забывали ни на минуту. Так хотелось пройти гордым шагом победителя по улицам родного города. Тот, кто пережил это, поймет меня.

Итак, глубокая осень. Противник маневрирует оперативными резервами на Кировоградском и Запорожском направлениях, нанося чувствительные контрудары по нашим частям. Чуть зазеваешься – и, пожалуйста, с какого-нибудь фланга бьют крупнокалиберные немецкие пулеметы, бесчинствуют танковые группы.

В те дни мне нашлась особенная работа. Командование, прекрасно осведомленное, что сам я родом из здешних мест, неплохо их знаю, к тому же хорошо владею украинским языком, поручило связаться с партизанским отрядом, что действовал за линией фронта, на участке наступления нашего корпуса. Нужно было договориться о совместном ударе по противнику со стороны фронта и со стороны вражеского тыла, а также обеспечить точную и безотказную радиосвязь.

Доставили меня за линию фронта, к партизанам, на «кукурузнике». Нам повезло: по пути не встретили ни одного «мессера». На крохотной площадке посреди леса нашли малюсенький партизанский аэродром. Не успел бесстрашный лётчик Володя Чашин, весь полет напряженно следивший за небом, почувствовать под колесами боевой машины твердую землю, остановить винт и открыть самолетную дверцу, как со всех сторон к нам, прилетевшим с Большой земли, бросились люди. Они были одеты в ватники и шинели, красноармейские и трофейные, в овчинные полушубки, в гражданские демисезонные и зимние пальто. Одежда была закопчена дымом партизанских костров, изорвана пулевыми и минометными осколками, с засохшими комками грязи от бесконечных переходов и кочевков. На шапках у некоторых виднелись красные ленты, тоже далеко на первой свежести.

За плечами партизан висели то родные ППШ, то немецкие автоматы с металлическими решетчатыми прикладами. На поясах – гранаты и штурмовые ножи. Особенно взволновало меня присутствие среди встречающих невеликого роста хлопчиков, тоже вооруженных. Они были в ладно сшитой полувоенной форме без погон. Это были «сыны отряда», на самом деле – сироты. Юные храбрецы несколько не хуже взрослых воевали, имели боевые награды.

Мы прошли в штабную землянку. На грубо сколоченном из досок столе разостлали карту. Долго и подробно выясняли обстановку. Обговорили каждую мелочь. А уже потом стол, только что бывший штабным, преобразился: гостеприимные хозяева быстро расставили алюминиевые кружки, да и гости не с

пустыми руками «с неба свалились». Сколько раз за войну я поднимал тост «За Победу!»; но те «фронтовые сто грамм» и поныне незабываемы. Так мы расстались с командиром партизанского отряда М. М. Скирдой. А встретились вновь при грустных обстоятельствах в марте 1944 года, в Кировограде, на похоронах полковника Шibaева.

СНОВА В РОДНОМ ГОРОДЕ

5 января 1944 года наши войска начали штурм Кировограда. Через два дня все было кончено. Врага разбили и, не останавливаясь, корпус двинулся дальше, намереваясь нанести сильнейший удар по Умани, все еще занятой противником. Не довелось мне войти с войсками в родной город. И о том, чтобы во время наступления отпроситься из боевых порядков части домой, хоть на часок, даже и мысли не было. Тем временем корпус, истерзанный непрерывными боями, серьезно ослабленный, командование остановило для отдыха и пополнения.

Настала долгожданная передышка в прифронтовой полосе. Кто-то пишет письма, кто-то устраивается перед фронтовым парикмахером, кто-то заводит «скорострельные» полевые романы с пригожими украинскими девчатами, бесконечно счастливыми, «що поганого нимця бильше немає на ридной земле».

И тут меня находит полковник Шibaев, мой любимый командир:

– Леонид, корпус без тебя проживет день-другой, а ты давай-ка бери «виллис», загрузись питанием да смотайся домой. Повидай мать, передай привет от нас, твоих боевых друзей, и без задержки – обратно. Желаю удачи, Лёня!

Как же я растерялся! Напрочь забыл о субординации, первым протянул руку полковнику и крепко пожал ее:

– Спасибо вам, Алексей Алексеевич, большое спасибо за все!

Да разве вспомнишь сейчас, по прошествии более чем полувека, все те слова благодарности, которые я говорил своему дорогому командиру. По правде говоря, мне больно, очень больно вспоминать те дни. Не прошло и двух месяцев после того нашего разговора, как мы хоронили нашего храброго старшего товарища, Алексея Алексеевича Шibaева, в Кировограде, рядом с театром имени Кропивницкого. Столько раз я видел в командирской планшете, за прозрачно-желтым целлулоидом, простенькую семейную фотографию жены Алексея Алексеевича и его двух дочурок. Среди тех, кого навечно отняла война, никогда не забываю в грустные минуты помянуть добрым словом, а порою и чаркой незабвенного полковника Шibaева. Помнят ли теперь о его беззаветном подвиге в «незалежной» Украине, кладут ли цветы на мраморную плиту с его именем?..

На фронтовом «виллисе», на котором давным-давно выцвела, поблекла заводская краска и который выглядел так, словно от времен гоголевской тройки мерит версты по бескрайним российским просторам, мчался я, не обращая внимания на ухабы, пролетая мимо сожженных деревенок, где следы недавних пожаров чуть-чуть прикрыл январский снежок. Неслась машина по территории, только-только избавившейся от вражеского нашествия. Здесь прошли варвары, здесь чудом уцелела жизнь. «Сколько придется восстанавливать, – думал я, – на истерзанной земле».

Когда въехали в Кировоград, как ни готовился к тому, что увижу, все-таки не узнал родного города. Как же изувечила его война... Дома без крыш, с обугленны-

ми стенами, груды опаленного пожарами кирпича. Не осталось ни одной целой трамвайной линии. Кое-где лежали поваленные столбы, разбитые трамвайные вагоны. Весь город был засыпан осколками стекла. Мертвенно зияли пустые окна. Лежал в развалинах гордость моих земляков – завод «Красная звезда». До войны чуть ли не половина города работала здесь, в том числе и моя мама. Проезжаем мимо вокзала, памятного мне своей чистотой, уютом, пассажирским многолюдьем и особой атмосферой близости поездов, атмосферой, манящей в дальние странствия. От красивейшего вокзального здания – и стен не осталось. Вокруг видны остовы сгоревших вагонов, и казалось, что никогда не суждено всему этому возродиться, восстать из пепла.

«Виллис» резво объезжал рытвины и колдобины. Родной дом перед глазами! Калитка, столь много говорящая сердцу. Сколько раз за эти годы я мысленно открывал ее, и вот теперь чувствую небывалую тяжесть в ногах. Из машины кое-как вылез, неверными шагами подошел к калитке. Не могу идти, не могу – и все... Отсюда, из этого двора, давным-давно – целая вечность прошла – я уходил на войну. Теперь вернулся, стою посреди того же двора – и не знаю, что мне делать.

Оборачиваюсь на звук еле слышно скрипнувшей двери флигеля. На пороге – седая старушка невысокого роста. Узнаю хозяйку дома, у нее мы снимали комнату, – Ефросинью Захаровну. Военные годы не пощадил и ее. Похудела. Преклонный возраст стал заметен. Со всех ног бросаюсь к ней – родная душа, слава богу!

Ефросинья Захаровна слабо всплеснула руками, обняла меня, старушечьи слезы закапали на шинель:

– Лёничка, милый хлопчик, яка радость! Люди добрые, дивитесь, Лёничка вернулся!..

И я заплакал, плачу и сейчас, когда пишу эти строки о событии, происшедшем в моей жизни очень и очень давно.

К нам, обнявшимся и плачущим, стали подходить мужчины и женщины из соседних домов. Я начал переходить из рук в руки. Все ласково и как бы не веря своим глазам обнимали меня. Сначала робко, потихоньку, а потом все настойчивее и беспорядочнее забрасывали вопросами. Я отвечал.

А потом спросил:

– Ефросинья Захаровна, бабушка Фрося, дорогая, что же мамы-то нет, где же она?

Люди замолчали, словно им всем разом заткнули рот. А Ефросинья Захаровна, заслышав мой вопрос, так горько зарыдала, что сердце мое заледенело, и даже пошевелиться не мог.

– Лёничка, хлопчик мой родной, нема твоей мамы, проклятые фашисты убили ее, всех твоих родичей убили... Сирота ты теперь, Лёничка, на веки вечные...

С темнотой в глазах, с ледяным комом в одеревеневшем горле, сотрясаясь от рыданий, подошел я к толстым промерзшим доскам массивных ворот, прислонился к ним и долго-долго не мог прийти в себя. Никак не мог справиться с горькими слезами... Вспомнилось, как восемь лет назад вот здесь же узнал о смерти отца. Ему только-только исполнилось тогда 36 лет. Но отцу судьбою было дано горькое последнее утешение – я мог с ним попрощаться. А маме? Как же мне было жаль милую маму! Такой боли я не испытывал все годы войны, хотя не раз смотрел смерти в глаза, пережил столько горя и страданий, гибель боевых товарищей...

Соседи подошли ко мне, взяли под руки, повели в дом к Ефросинье Захаровне. Там сели за стол. Народу в хату собралось столько, что и ступить некуда было. Постепенно развернулась передо мной со слов соседей страшная история фашистского нашествия.

Захватив Кировоград, немцы обыскивали один дом за другим. Забирали все, что только можно было унести. Того, кто пытался хоть что-то спасти от грабежа, расстреливали на месте. Фашисты искали коммунистов, комсомольцев, руководителей заводов и фабрик, директоров школ, евреев, бойцов и командиров, что были ранены и не смогли отступить вместе с Красной Армией.

Кировоградцы сочувствовали тем, на кого устроили охоту немецкие захватчики. Как могли, нередко рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, прятали несчастных людей, пытались укрыть от смерти. Немцы нередко пользовались усердной помощью предателей, надевших форму и повязки полицейав.

С мамой жила ее младшая сестра Аня – ее дом разбомбили. И двум сестрам да еще двум малым Аниным детям пришлось бы совсем плохо, если бы не соседи, которые самоотверженно прятали еврейскую семью два с половиной месяца. Двое женщин и два ребенка, за которыми по пятам шла смерть, скитались по сараям, чердакам и подвалам. Но их выследил полицейай. Он жил неподалеку, на соседней с нашей Интернациональной улице. Все кончилось в середине октября. За мамой, за всеми пришли гитлеровец и два полицейая. И повели в крепость. Там обреченных людей заставляли рыть самим себе могилы, а потом расстреливали. Выбежали соседи. Мама плакала и сквозь слезы умоляла карателей, чтобы хоть детей пощадили, не уводили на расстрел. Но убийцы не позволили взять с собой для четырехлетнего Вовочки и полуторагодовалой Раечки даже маленький узелочек со скудной едой, что впопыхах собрали милосердные соседи.

– Ефросинья Захаровна, – попросила перед тем, как ее увели на смерть, моя несчастная мама, – если, Бог даст, Лёничка возвратится с войны, расскажите моему сыночку, какие страдания нам пришлось принять, а вас пусть сохранит Бог, будьте живы и здоровы.

Холодно было в Кировограде осенью 1941 года, и мама надела перед смертью мое зимнее пальто. Его мне справили незадолго до войны по всем правилам моды тех лет. И выглядело оно, как говорили в те времена, «моднецки», с четырьмя пуговицами на широком хлястике и с умопомрачительным разрезом сзади. Со своим пальто, согретшим маму в ее последние минуты жизни, я еще встречусь и расскажу, как это было.

Ефросинья Захаровна принесла чудом уцелевший в глухом тайнике самогон. Мы помянули и мою погибшую маму, и моих близких, и всех, кого нам не суждено было увидеть и обнять. Люди рассказывали, что немцы стреляли без предупреждения в каждого, кто пытался приблизиться к крепости, где шли массовые расстрелы кировоградцев. И все равно в городе знали, что перед казнью невинных людей заставляли раздеться до нижнего белья. Полуголых, дрожащих от страха и холода, подталкивали к краю могильного рва. Потом расстреливали из автоматов и пулеметов, а после наспех закидывали землей. Так расправились более чем с семьюдесятью тысячами моих земляков. А сколько юношей и девушек фашисты угнали в немецкое рабство?! Я слушал про голод, про зверскую нищету, про безжалостное отношение оккупантов к природе, к культуре. Хотелось поскорее не только прогнать немцев с родной земли, но и заставить врага капитулировать.

За короткими поминками расспрашивал о семье средней маминой сестры – Ольги Владимировны Яновской. О ее муже – Семене Семеновиче, детях, старшем сыне Владимире, младшем – Илье, старшей дочери – Белле и младшей – Жене. Но никто не знал, живы ли они, что с ними.

Попросил водителя проехать на соседнюю улицу, не так и далеко – всего несколько кварталов. Двор дома Ольги Владимировны – голый, похожий на заброшенное кладбище: ни ворот, ни ограды. Да и сам дом вот-вот исчезнет, перестанет существовать. Оконные проемы наглухо забиты досками, и казалось, что домишко медленно погружается в землю, тонет в военном лихолетье. Кое-как нашел неподалеку живых людей. Но и они мало что знали: вроде бы Семен Семенович увез перед нашествием жену и младших детей в неизвестную дальнюю деревню. Лишь много времени спустя удалось мне узнать о том, что Илью и Женю угнали в Германию, о самой Ольге Владимировне ничего определенного не услышал. Мои ровесники – Белла и Володя – были в Красной Армии, а Семена Семеновича вскоре после оккупации Кировограда расстреляли.

Захотелось узнать и о своих друзьях – Мише Шатуновском и Мише Виноградове. Опять-таки ничего достоверного – обрывки сведений, то ли правда, то ли нет. Будто бы семья Виноградовых смогла эвакуироваться в Куйбышев, а родители Шатуновского расстреляны, как моя мама и ее сестры. Миша вроде спасся и воевал в партизанском отряде. И только после войны в Ташкенте, куда я приехал на военные сборы, в штаб Туркестанского военного округа, встретил своего дорогого друга, прихрамывающего, но живого. Он рассказал, как бежал из захваченного немцами города, по ночам пробирался к своим, попал в отступавшую воинскую часть. Воевал, пока не был ранен, оказался в ташкентском военном госпитале. Мише ампутировали правую ступню, но все-таки он остался жив, не пал духом, женился. У него дочь. Он пригласил меня к себе домой. Долго сидели за столом, вспоминая нашу довоенную безмятежную юность. Другой Миша – Виноградов – всю войну проработал на Куйбышевском авиационном заводе. Те боевые машины, что с неба громили врага, создавались и при его непосредственном участии.

Короткая поездка в Кировоград заканчивалась. Напоследок Ефросинья Захаровна повела меня в сарай, в тот самый, где прятались мама и ее сестра с детьми. Показала место в глухом углу, где мама закопала наши семейные документы и фотографии.

– Куда мне это сейчас? – сказал я Ефросинье Захаровне. – С собой взять не могу. Даст Бог, вернусь с войны, откопаю, а вы – поберегите. Может, на наш адрес какие-нибудь письма придут, сохраните.

– Оставайся живым, сынок, – совсем по-матерински напутствовала меня старушка, обняв на прощание. Крепко поцеловала, перекрестила и проводила до ворот. Подарки и продукты давно были выгружены и розданы всем, кто пришел, пока я был в родном дворе.

И вот – обратная дорога. Но теперь без надежды на то, что когда-нибудь увижу маму, братьев и сестер. Далеко не сразу узнал, что когда Женю – ей было 14 лет – и одиннадцатилетнего Илью угоняли в Германию, мальчик пытался бежать, но его сразила автоматная очередь. Жене пришлось батрачить на чужбине, пока ее не освободили наши войска. Сейчас она живет в Кировоградской области. Мой брат-ровесник Володя сражался на фронте, был тяжело ранен, награжден, как

и Миша Шатуновский, боевыми наградами. Судьба забросила его, как и меня, далеко-далеко от Родины. Он живет в Балхаше. А вот с сестрой Беллой мы, словно в приключенческом романе, случайно встретились на фронтовых дорогах, в Польше...

ГОРЬКИЕ СЛЕДЫ ВОЙНЫ

По заведенному на фронте порядку в корпусе по утрам проводилась политинформация: кто-нибудь рассказывал собиравшимся офицерам о том, что совершалось на фронтах, о том, как идут дела в тылу и что слышно о «втором фронте» и прочих заграничных новостях. Но в то утро все слушали мой горький правдивый рассказ. Многие знали о моей поездке в Кировоград и сочувствовали, как могли, утешали и узнавали о еще одной трагической истории войны.

А попросил меня выступить перед офицерами части полковник Шibaев. С отцовской заботой и суровой лаской он воспринял мой рассказ.

– Лёня, что же тебе сказать? Крепись и мужайся. Остался ты сиротой на белом свете, а впереди – вся жизнь. Помни о матери. Живи так, чтобы – будь она жива – гордилась бы тобой. Вот что я тебе скажу. И нечего с горем один на один оставаться: приходи завтра на политинформацию, обо всем увиденном и пережитом расскажи.

Полковник говорил, что к нашей ненависти надо прибавить еще частичку. Мысль о мести, о том, что надо расквитаться с врагом, кровью за кровь, смертью за смерть, – ни на мгновение не покидала меня. Немцы никак не желали смириться с потерей Кировограда, непрерывно контратаковали, однако наши войска не давали врагу передышки, отчаянно наседали, решительно пресекая любые попытки противника сопротивляться. Вскоре все дороги, ведущие с запада к Кировограду, были перерезаны.

По природе и по воспитанию я – добрый человек, которому никогда в жизни не хотелось сделать кому-нибудь больно. И эта человеколюбивая настроенность жила во мне с молодых лет. Но тогда, в дни войны, мною владели не только доброта и гуманность. Когда я слышал слова песни: «Пусть ярость благородная вскипает как волна...» – чувствовал, что они сказаны и для меня.

Тем временем корпус, основательно потрепанный в бесконечных, кровопролитных и беспощадно-жестоких боях, по приказу ставки Верховного Главнокомандования отвели в район Знаменки, Глинска, Иванковцев – это все та же родная моя Кировоградская область. Времени нам выпало для передышки совсем-совсем немного. А сколько надо было успеть! Принять и обучить пополнение, в котором, впрочем, попадались и вполне обстрелянные бойцы, освоить до тонкости новые образцы танков и самоходно-артиллерийских установок, обновленного артиллерийского парка. И чем больше прибывало боевой техники, тем сильнее была нужда в подготовке к новым сражениям, в изучении того, что мы уже знали о войне.

Так и шла служба: в лесных землянках, в спрятанных от фашистских бомбардировщиков корпусных лагерях на земле Правобережной Украины, которая лежала в развалинах, набитая до отказа смертоносным металлом. Мы понимали, как нелегко приходится крестьянам и горожанам, помогали разбирать завалы, обезвреживали от мин деревни и поля, городские здания и улицы, по-братски делились и мукой, и жирами, и махоркой. Порою, в секрете от высших интендантских властей, моим

землякам доставался полуразбитый армейский грузовик, что-либо из медикаментов, необходимая толика бинтов и ваты. Около полковых походных кухонь нередко кормилась голодная ребятня, отощавшая до невозможности при фашистах.

А какой ласковой пришла весна 1944 года на вызволенную из фашистского плена украинскую землю! Стояла чудесная теплынь, поплыли запахи рано расцветшей сирени, яблоневого и вишневого цвета, перекрывая тяжелый, отступающий в прошлое запах гари и смрада. Сюда возвращалась жизнь, и она быстро и решительно стирала память о жестоком нашествии.

И все те недели, прошедшие после первого посещения Кировограда, мне день и ночь не давало покоя желание во что бы то ни стало выяснить до конца правду об обстоятельствах гибели моей мамы, моих дорогих родственников. Командование в начале мая направило в мой родной город группу офицеров. С ними поехал и я. Отпустили меня на пять дней. Незабвенного полковника Шибаева уже не было тогда в живых.

НЕ УДАЛОСЬ УЙТИ ПАЛАЧУ

Несется машина по кировоградским дорогам, я сижу рядом с капитаном Ключником. Иван Николаевич, известный своей беззаветной храбростью и мужеством, – офицер армейской контрразведки. Дорога длинная, и, слово за слово, капитан узнает о том, что тревожит меня и терзает.

– Так вот, Леонид, – сурово говорит он мне, – этого мы так не оставим, обязательно выведем. Ты не журишь, хлопец, так, кажется, говорят у вас на Украине. Я это беру на заметку, и пока не докопаюсь до дна, не остановлюсь. Да и ребята из госбезопасности должны помочь – я тут с ними подружился. Так что будет порядок. Поехали-ка к тебе...

И вот мы вновь в моем дворе, и вновь соседи говорят о том, что уже известно читателю. Иван Николаевич как профессиональный контрразведчик выпытывает и сопоставляет. Он неотступно настойчив, и его собранность людей успокаивает, вызывает желание помочь нам в поисках тех, кто виновен в гибели моей мамы. Так мы узнаем, что полицей, выследивший маму и моих родственников, никуда не делся.

– Он неподалеку живет, на той улице, – внезапно решившись, говорит одна женщина с исхудалым, потемневшим за годы оккупации лицом. – Не знаю его фамилию, а по имени слышала, как окликали – Андрей. Да, да, Андрей, я точно запомнила.

И она замолчала столь же внезапно, как и заговорила, будто сожалела, что так разоткровенничалась. Она даже попыталась уйти, но Иван Николаевич, одним своим видом давая понять, что бояться нечего, что немцы на Украину не вернуться никогда, спросил:

– А показать сможете, где живет Андрей?

Женщина задумалась, опустила глаза, и все кругом замолчали. Настала долгая тишина. У меня перехватило дыхание.

– Хорошо, покажу, – оглянувшись, сказала женщина. – Покажу, провожу до Андреева дома. Только дальше не пойду. И про меня никому говорить не надо.

– Будь по-вашему, – нисколько не смутившись боязнью нашей помощницы пообещал капитан Ключник. – Не будем откладывать, поехали.

Машина остановилась по знаку женщины. Она неторопливо вышла, поправила выцветший и выгоревший платок, махнула рукой в направлении высокого глухого забора и потом, не прощаясь и не оглядываясь, пошла назад. А мы подъехали к запертой калитке. Вначале стучали, а потом и крепко колотили в нее. Но в ответ слышался только яростный лай собаки.

Видно, что хозяин долго дожидался, пока непрошеные гости уберутся во-свояси, ничего не добившись. Однако не таков был мой волевой спутник, если б понадобилось, он бы взломал и калитку, и злая собака его бы не остановила. Калитка, как бы нехотя, чуть-чуть приоткрылась, за нею стоял сутулый небритый мужчина со спутанными волосами на непокрытой голове, он зло смотрел на нас и молчал. Однако разобрав, что перед ним офицеры Красной Армии, тотчас согнулся в подобострастном полупоклоне, старательно зашаркал сапогами, грязными, кстати сказать, давно не чищенными. Вид у него был такой, словно только что вышел из подполья, где долго скрывался от людей и дневного света – одежда мягая, нечистая. И несло от него то ли подвальной, то ли чердачной сыростью и затхлостью.

По дороге к дому Андрей осипшим дрожащим голосом все спрашивал:

– Что товарищам офицерам нужно? Зачем я понадобился?

И говорил как-то суетливо, приниженно. Трусость, страх проскальзывали в каждом его слове, в каждом поспешном движении.

Иван Николаевич отвечал:

– Да что нам на ходу-то беседовать. Давайте до хаты пройдем, там и поговорим. Разговор у нас не короткий, много бы узнать хотелось.

После этих слов Андрей еще более засуетился, хотя, казалось, куда уж больше-то. И все повторял без конца:

– Проходите до хаты, будь ласка, проходите, будь ласка...

И мы прошли. Сели за стол посреди небольшой комнаты с маленьким, давно не мытым окном. Это было так непривычно. Ведь все люди, в каких только украинских домах мы ни побывали, прежде всего старались отмыть и очистить оккупационную грязь.

– Почему не в Красной Армии? – стал спрашивать капитан Ключник, а я устроился на каком-то сундуке и слушал, борясь со странным чувством ненависти и одновременно брезгливости. Разве приятно чувствовать себя, когда знаешь, что перед тобою – палач твоей матери...

– Так я это, – почти невнятным шепотом стал отвечать Андрей, старательно обдумывая каждое слово. – До войны еще меня комиссовали, болен, потому и белый билет выдали, с воинского учета сняли.

– Остался в Кировограде нарочно, что ли, чтобы немцам служить? – строго спросил капитан Ключник.

– Чего там служить, – с обидой слабо запротестовал Андрей и даже поморщился, будто бы поднесли ему и отхлебнул он по оплошке горькое питье. – Немцы все дороги тогда, в сорок первом, перехватили. Как уедешь... Вот и остался. Так и многие остались, кто с дороги вернулся, кто как... Правду говорю, товарищи...

– А потом стал полицаем? – допытывался Ключник.

– Да брехня все это, гражданин капитан, – не повышая голоса, но подтверже сказал Андрей, и впервые посмотрел Ключнику прямо в глаза. Впрочем, тут же отвел взгляд. – Никаким полицаем не был, охранял немецкий склад, потому и

оружие дали, потому на рукаве полицейскую повязку носил. А больше никакой вины за мной нема – вот так.

Капитан Клюшник продолжал расспрашивать Андрея, пытаясь за что-нибудь зацепиться, но чувствовалось, что Ивану Николаевичу этот безрезультатный допрос стал потихоньку надоедать. «Ах, ты, немецкая гадина!» – с яростью подумал я, встал, подошел к Андрею.

– До войны, – говорю, – я жил по соседству с тобой, на улице Интернациональной. А в январе, соседи рассказали мне, ты пришел с двумя немецкими солдатами за моей мамой, Клавдией Владимировной, и увел ее, ее сестру и малолетних детей на расстрел. На тебе была полицейская форма, и немецкий автомат висел на груди... Что скажешь на это?

– Да что скажу, – опять-таки неторопливо, негромко и в то же время неуступчиво отбрехивался Андрей. – А то скажу, что по злобе наговаривают. Не верьте, граждане офицеры, все брехня это...

– Да ты даже мое пальто надел, когда маму уводил! Так люди говорят, – я вдруг почувствовал к нему такую ненависть, что готов был задушить предателя голыми руками.

– Вот те на! – зло засмеялся Андрей и выпрямился. Еще мгновение, и он, кажется, встал бы и показал нам на порог: мол, потолковали и будет с вас. Нечего тут околачиваться и покой простых, ни в чем не виноватых людей тревожить. – Еще и пальто приписали. Никакого пальто не бачив, никого никуда и не водил, нечего придумывать. Вот так. И ничего вы тут не найдете... – из его мутных глаз даже выкатилась озлобленная слезинка.

Нет, не жалел я человека, сидящего передо мною. Мы с капитаном понимали, что Андрей врёт и изворачивается, но делать было нечего – никаких улик нет. Пришли, чтобы узнать правду, но ничего добиться от Андрея не удалось. Вставая, капитан Клюшник сказал сердито:

– Ладно, не смогли мы тебя сейчас прищучить, но не отвертись. Я на тебя заявление в органы передам. Там тобою займутся.

– А что же передавать-то, – с плохо скрытой радостью встал и Андрей, подвигаясь к порогу, страстно надеясь, что еще минута-другая, и незваные гости вновь окажутся за неприступной калиткой. – Проверяли меня, товарищ командир, еще как проверяли. И допрашивали, и показания подписывал. Все было. Так ведь ничего не нашли, выпустили подобра-поздорову, вот и бумагу дали, сказали, кто что спрашивать будет, ты бумагу и покажи – чист, мол, перед советской властью...

Капитан Клюшник вновь присел на табурет, взял бумагу из рук Андрея и внимательно, словно по складам, чуть ли не вслух, прочитал ее. Это была справка из комендатуры освобожденного Кировограда.

– Стой, Иван Николаевич, стой! – закричал я, сам от себя не ожидавший ни яростного этого крика, ни внезапного прозрения, которое посещает человека всего-навсего один-два раза в жизни.

Пока капитан расспрашивал Андрея, я поневоле осматривался в комнате и давно заприметил среди невзрачной ее обстановки потертый комод и замызганный старый шифоньер с покосившейся отошедшей дверцей. Казалось, тронь этот ветхий шкаф – и он тотчас упадет и рассыплется.

Меня колотило, словно я прикоснулся к оголенному электрическому проводу. Сам еще не соображая, зачем и почему я это делаю, подскочил к шифоньеру и

рванул эту самую бог весть на чем державшуюся дверцу. Она отскочила прочь, словно только и ждала того мгновения. Рухнула на пол. Забрякали глухо откатившиеся в сторону, к плинтусу, гвоздики. Внутри шифоньера, среди разного тряпья висело и мое родное серенькое пальто, то самое «моднецкое», с широким хлястиком на четыре пуговицы, с разрезом внизу, с потертым коричневым цигейковым воротником. На что я надеялся, почему так поступил, какой голос свыше подсказал мне так сделать, не знаю и до сих пор.

Мгновение, и я прижимаю к груди милое свое пальто. Чудится, будто вдыхаю запах нашего дома, словно где-то рядом моя родная мама, и вот-вот услышу ее знакомый голос:

– Лёничка, сынок родной!

Мой дядя Николай Аронович, из Макеевки, собственноручно сшил это пальто мне в подарок. С каким форсом, с какой мальчишней гордостью я носил это пальто до войны! И вот украл его палач, и оно висит в его гардеробе. Продолжая прижимать левой рукой к сердцу пальто, я молниеносно расстегнул кобуру и выхватил пистолет.

Но тут Клюшник перехватил мою руку:

– Что ты, господь с тобой, Лёня! Из-за этой подлой мрази попасть под трибунал. Не стоит о него руки марать. Получит свое, не беспокойся.

Андрей ползал на коленях по грязному заплыванному полу, кланялся, жалобно причитал:

– Пожалейте, пожалейте, не убивайте, простите бога ради...

Капитан Клюшник молча поднял предателя с пола, подвел его к двери, сказал:

– Пойдешь с нами.

Всё тот же «виллис» доставил нас в городское управление госбезопасности. Наши показания долго записывали, заносили в бумаги адреса свидетелей. Следовательно, очевидно, раньше имевший дело с бывшим полицаем, спросил с некоторым вызовом:

– А чем вы докажете, товарищ Гирш, что принесенное пальто ваше?

– Соседи могут подтвердить, – начал я.

– Ну что – соседи, – разочарованно-намекаяще протянул следователь. – Они, может, этого пальто и в глаза не видели. Слабое доказательство, вы уж не обижайтесь.

– Можно, товарищ следователь... – Я осторожно потянул пальто из рук моего неприязненно настроенного собеседника. – Меня зовут Леонид, Лёня. Вот, взглядитесь повнимательнее, вот здесь, да, да, вот здесь на верхней кромке левого внутреннего кармана – что написано?

– «Лёничке от дяди», – прочитал, как строчку диктанта, следователь.

– Это пальто, – еле сдерживая непрошеные слезы, сказал я, – сшил мне до войны родной мой дядя Николай Аронович и пришил памятную надпись.

– Да, спорить не о чем, – сухо сказал пришедший в себя следователь. – Пальто, пожалуйста, оставьте в качестве вещественного доказательства. Вы, товарищи офицеры, свободны, можете идти.

И следователь вызвал конвой, а мы больше никогда не видели ни его, ни Андрея. Позднее Ефросинья Захаровна рассказала мне, что над полицаем был суд, что приговорили его то ли к расстрелу, то ли долгому тюремному сроку. Но как

бы там ни было – все равно не вернуть к жизни мою любимую маму, ее сестру, маленьких детей.

Отпускного времени в тот раз у меня оказалось побольше. Так что начал разыскивать в городе своих одноклассников, встречаться с ними, выслушивать повести о жизни, одну другой горше. Постепенно стало известно, кого угнали в Германию, кто ушел в партизаны, кто успел эвакуироваться. Добрым печальным словом поминали тех, кто не дождался освобождения, погиб на фронте или при немцах.

Но никак не удавалось узнать что-либо про свою первую любовь – милую очаровательную Леночку Чеботареву. И решил спросить напрямик:

– Ребята, что вы темните, давайте начистоту. Почему никто не скажет, что с Леночкой, где ее мама – Полина Ильинична?

И не успел я повторить свой вопрос, как встала мне навстречу Лида Гульченко, такая отважная девчушка, гроза мальчишек всего класса, заводила всех добрых дел:

– Да просто не хотим говорить про подлую предательницу Ленку. Тебе и так досталось, Лёнечка, но все же не переживай, прими и это... И Полину Ильиничну погубила...

Села, оборвав рассказ на полуслове. Вот тебе и первая любовь, о которой столько дней и ночей мечтал, шагая по огненно-кровавым военным дорогам. Не могу передать всей силы потрясения, обрушившегося на меня.

– Рассказывайте всё, ничего не пропускайте, всё хочу знать, – сказал я.

– Когда взяли Кировоград, – начала Лида, – немцы расклеили повсюду объявления, чтобы знающие немецкий язык шли работать в комендатуру, в магистрат... Немецкий язык Ленка знала, и неплохо. Пошла работать переводчицей, разъезжала по городу в шикарном автомобиле городского коменданта. Одевалась умопомрачительно, со всеми друзьями детства и школьными товарищами круто раззнакомилась, не здоровалась. Несколько раз обращались к ней с просьбами помочь – ни разу не помогла. А в конце 1942 года вышла замуж за своего начальника и родила дочь. Когда немцы отступали из Кировограда, исчезла из города и Лена Чеботарева.

– А Полина Ильинична? – интересовался я судьбой любимой учительницы.

– Нет, Лёня, не знает никто, что с ней, – огорченно ответила Лида.

Да, никого не миновало лихолетье: каждому полной мерой досталась чаша горя, которое не выплакать никакими слезами, хотя пролито их в те дни и позднее немало. Особенно жаль милых моих одноклассниц, натерпевшихся такого, что и рассказывать, вспоминать они не желали.

Горьким вышло прощание с первой любовью. На все мое беспечальное детство, такое чистое, дорогое и незабвенное, пала черная мрачная тень измены и предательства. Как хотелось, и должен сознаться, что такая сумасшедшая и, конечно же, неосуществимая мысль часто приходила мне в голову в те дни, во что бы то ни стало один на один встретиться с Леночкой и спросить ее напрямик – ведь ближе человека в юности у меня не было – как же ты смогла? Но некого было спросить, и я бродил в одиночестве по знакомым с детства улицам и местам, стоял один на один с горькими переживаниями на речном берегу, и, казалось, река отвечала мне: «Так создан мир, дружок!.. Не горюй, не переживай, тебе нужно жить дальше. И еще не закончена война...»

...Несколько лет спустя, женившись, я решил показать супруге Валентине город своего детства, милую родину. Мы шли по тихой кировоградской улице, шли в спокойном одиночестве заезжих путешественников, которые вскоре оставят это место, чтобы устремиться к новым далям. Шли, тихо разговаривали, как вдруг я заметил седую старушку в затрапезной одежде, неспешно бредущую нам навстречу, сгорбленную и чем-то сильно озабоченную. Когда мы поравнялись, я посмотрел ей в лицо, воскликнул:

– Полина Ильинична, дорогая, вы ли это?

– Да, Лёничка, это я, – нисколько не удивившись, не повышая голоса, негромко и отрешенно ответила мне любимая учительница.

Господи, что же время сотворило с нею: исчезли прямая гордая осанка, добрый взгляд сияющих зеленых глаз, которые всем казались изумрудными.

Я стоял растерянный и потерявший дар речи. Наконец спохватился, познакомил с Полиной Ильиничной жену, и вновь настало молчание. Полина Ильинична долго смотрела на меня, потом заплакала. Я пытался утешить, повторял:

– Ну что вы, ну не надо, Полина Ильинична, дорогая...

Сквозь слезы она говорила:

– Ты меня ни о чем не спрашиваешь, и не надо спрашивать. Ты и так все знаешь. Прошлого не вернешь и не изменишь, что случилось, то случилось. О тебе слышана, какой ты молодец! Клавдия Владимировна, пусть земля ей пухом, была бы счастлива. Ты – живой, у тебя все хорошо, и слава Богу, и дай Бог счастья тебе и твоей милой жене. А встречаться со мной не нужно, время такое, как бы тебе не пришлось из-за меня пострадать. Ни к чему это... Лену, если можешь, прости, не помни зла. Даже восточку о ней не имею. Вот такое мне горе на старости лет.

Полина Ильинична вытерла слезы рукавом старенькой фуфайки. Крепко обняла меня, сказав еще раз: «Да хранит тебя Господь!» – пошла, не оборачиваясь. И навечно ушла из моей жизни любимая учительница, с которой связано столько хороших воспоминаний. Только вот напрасно она полагала, что я держу сердце на Леночку Чеботареву. Во всем виновата ненавистная война, «подлая», как верно говорится в одной песне. Она исковеркала миллионы судеб, оставила после себя истерзанные города, бесконечные кладбища, поля смерти.

МЫ ПРИШЛИ НА БЕРЕГ ШПРЕЕ

А впереди – еще целый год войны. Тяжелые бои в Польше, на территории самой Германии. События апреля – мая 1945 года развивались столь масштабно, стремительно и непрерывно, что по-настоящему осмыслить их удалось не сразу. Не хватало времени написать письмо друзьям, родственникам. А уж когда брал в руки свой заветный блокнот, чтобы сделать набросок нового задуманного стихотворения, – об этом совсем забыл. Замыслов было много. Строчки будущих стихов буквально роились в голове. Нужен был хотя бы часок свободного времени и полное уединение. А такой роскоши у меня давным-давно не имелось. С того самого времени, как началась Берлинская операция. Правда, однажды я доставал из своей офицерской сумки блокнотик со стихами. И вот по какому поводу.

В ночь на 16 апреля, выполняя распоряжение командующего армией, наш 5-й Гвардейский механизированный Зимовниковский корпус начал переправляться через реку Нейсе в районе Гросс-Зерхена. И на западном берегу реки сразу же

получил задачу: вместе с другими войсками решительно атаковать противника в междуречье Нейсе-Шпрее. Бои шли ужасно ожесточенные. Обстановка менялась буквально каждый час. Немцы предпринимали все возможные с их стороны меры, чтобы сдержать натиск наших войск со всех сторон.

18 апреля части нашего корпуса, совершив марш, начали форсирование реки Шпрее, которая, как известно, пересекает Берлин. От одного упоминания названия этой реки мурашки по телу пробегали: мы совсем рядом от Берлина, а значит, и войне скоро конец!

Помню, командир бригады приказал мне выдвинуться к тому месту на берегу Шпрее, где предстояло по наведенному мосту переправляться нашей части. Отыскать переправу особой сложности не было. Она уже была готова. Я поспешил доложить об этом в штаб, а сам снова вернулся на берег реки. Тогда-то и довелось достать блокнотик со своими стихами. Я верил, что когда-нибудь так и случится: на берегу Шпрее прочту их – и вспомню о боевых друзьях, для которых, как клятву, читал строки, сочиненные мной еще в 1942 году, в июле. Тогда, не закончив учебу в Высшем военно-морском училище, в качестве морских пехотинцев мы, недавние курсанты, были направлены на фронт. Сочинял я, лежа на вагонной полке:

Мы придем на берег Шпрее!
Врежем Гитлеру по шее.
Честь Отчизны отстоим,
Пуль на это не жалея...

С тех пор прошло почти три года. Так долгов был путь, так много пережито. Но Шпрее все-таки вот – передо мной. И я был горд и счастлив.

Переправа прошла без осложнений. Немецкая авиация уже не имела возможности всерьез препятствовать продвижению наших войск. А на Берлин двигалась несметная лавина нашей боевой техники. Ею были заняты все большие и малые дороги. Со стороны германской столицы слышался неимоверный грохот. Огонь вели и «катюши», и всевозможные артиллерийские системы.

Признаюсь честно, что именно теперь, когда до окончания войны оставалось совсем немного, особенно не хотелось умирать.

НА ПОМОЩЬ ВОССТАВШЕЙ ПРАГЕ

Последним аккордом Великой Отечественной войны явилась Пражская операция, в результате которой было завершено освобождение Советскими Вооруженными Силами братской Чехословакии от фашистского ига.

Когда 9 мая 1945 года праздничный салют в Москве возвестил всему миру долгожданную и радостную весть о полной победе над германским фашизмом, боевые действия на территории Чехословакии еще продолжались.

Пражская операция имела громадное не только стратегическое, но и военнополитическое значение. Была разгромлена последняя крупная группировка немецко-фашистских войск.

К началу операции противник располагал на территории Чехословакии крупными силами в составе группы армий «Центр» под командованием генерал-

фельдмаршала Шернера и группы армий «Австрия», которой командовал генерал-полковник Рендулич. Они насчитывали свыше 900 тысяч человек, имели 9700 орудий и минометов, свыше 2200 танков и самоходных орудий, около одной тысячи самолетов. И это не считая находившихся там многочисленных отрядов гестаповцев и эсэсовцев. Обороне немецко-фашистских войск способствовали благоприятные условия местности, заранее подготовленные и обжитые позиции в Судетских и Рудных горах. К проведению Пражской операции привлекались войска 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинского фронтов, в том числе, 2-я армия Войска Польского и 1-й Чехословацкий армейский корпус. Всего в составе трех фронтов было свыше двух миллионов человек, 30 тысяч орудий и минометов, 1900 танков и САУ и более трех тысяч самолетов.

Целью Пражской операции было окружить и разгромить немецко-фашистскую группировку на территории Чехословакии, оказать помощь восставшему населению, освободить Прагу, не дать возможности гитлеровским оккупантам превратить ее во «вторую Варшаву». Каждый из фронтов, наносивших удары по сходящимся направлениям, решал ответственные задачи. Но наиболее важная роль принадлежала войскам 1-го Украинского фронта.

Особое значение для успеха операций имели стремительные действия танковых армий, которым предстояло осуществить быстрый и глубокий марш-маневр. Готовность к наступлению – 5 мая, наступление – с утра 6 мая.

4-я Гвардейская танковая армия (командующий – гвардии генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко) получила задачу: наступая, к исходу шестого дня операции ударом с запада и юго-запада овладеть Прагой. 3-я Гвардейская танковая армия (командующий – гвардии генерал-полковник П. С. Рыбалко) имела задачу: к исходу шестого дня операции ударом с севера и северо-востока овладеть городом Прага.

Решением командарма 4-й Гвардейской танковой армии предусматривалось наступать непрерывно днем и ночью, вести стремительные боевые действия, учитывая своеобразие горно-лесной местности, и в первый день операции захватить перевалы Рудных гор, не дать возможности противнику организовать на них оборону.

6 мая в 5 часов 30 минут после десятиминутного огневого налета артиллерии передовые отряды армии при мощной поддержке штурмовой авиации атаковали противника и прорвали его оборону на фронте 12 км и в глубину – до 15 км. Развивая наступление, танкисты устремились к Рудным горам. К исходу 6 мая войска армии продвинулись в глубину до 40 км, захватив важные узлы дорог и теснины. К вечеру 7 мая, несмотря на трудные условия местности и сильное сопротивление противника, они продвинулись еще на 50 км.

Тем временем восстание в Праге разрасталось. Население строило баррикады, отряды повстанцев и рабочие крупных заводов «Шкода», «Смихов», «Авиа», «Вальтер», «Микрофон», «Эта» заняли почту, телеграф, телефонную станцию, радио, ряд мостов через Влтаву и другие ключевые объекты.

Гитлеровский генерал Шернер бросил для подавления восстания эсэсовские танковые и полицейские части, которые жестоко расправлялись с восставшими, особенно в рабочих районах Праги. Защитники баррикад проявляли героизм и мужество, но гитлеровцы имели превосходство в силах, технике и вооружении. Наступил кризис восстания.

В этой тяжелой обстановке пражское радио обратилось к Советской Армии с просьбой об оказании немедленной помощи.

Передовые отряды нашей армии успешно продвигались вперед, нанося стремительные удары сходу по опорным пунктам и узлам сопротивления. Отступая, гитлеровцы продолжали устраивать инженерно-минные заграждения. Движение в горах разрешалось только вперед. Непрерывной лентой днем и ночью преодолевали колонны горные перевалы.

Утром 8 мая после двухчасового боя наши гвардейцы овладели городами Мост, Бечов. При этом отличились воины 16-й механизированной бригады под командованием подполковника Г. М. Щербака. Ломая сопротивление врага, они уничтожили около 20 противотанковых орудий и ворвались в город Мост. Здесь еще шел бой, а навстречу советским войскам выбегали тысячи мужчин, женщин, подростков. Среди них были не только чехи, но и русские, поляки, французы, датчане, которых гитлеровцы согнали сюда на каторжные работы.

При овладении городом Жатец войска 5-го Гвардейского механизированного корпуса участвовали в разгроме штаба группы армий «Центр». При этом в плен оказалась большая группа генералов. Бросив свои войска, этот «доблестный» штаб удирал на запад, к американцам, но не смог проскочить в Карловы Вары, так как был перехвачен нашими гвардейцами. К сожалению, командующему группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалу Шернеру удалось тогда улизнуть. Бросив на произвол судьбы свои войска, он сдался в плен американцам. Но позднее был передан советскому командованию.

Весь день 8 мая наши войска стремительно продвигались вперед, в глубь Чехословакии. Утром этого дня стало известно, что немецко-фашистские войска на территории Германии капитулировали, но группа армий «Центр» продолжала вести боевые действия, надеясь выиграть время отхода к американцам.

9 мая в 2 часа 30 минут в Прагу ворвался передовой отряд 10-го гвардейского танкового корпуса – 63-я танковая бригада Героя Советского Союза полковника М. Г. Фомичева.

К 4 часам утра в Прагу вступили главные силы нашей армии: сначала 10-й Гвардейский танковый корпус, а полтора часа спустя – 5-й и 6-й Гвардейские механизированные корпуса. Через некоторое время с севера в город вошли передовые части 3-й Гвардейской танковой армии и другие соединения. Из частей 5-го Гвардейского механизированного корпуса в Прагу с запада и юго-запада вступили 10-я, 12-я механизированные и 24-я Гвардейская танковая бригады.

Жители забрасывали нас ветками сирени, букетами цветов.

Бои в городе продолжались. Более семи часов сражались воины на улицах столицы Чехословакии. Совместно с повстанцами советские войска разгромили в Праге танковые дивизии СС «Райх» и «Викинг», 20-й полицейский полк и несколько охранных батальонов, которые подавляли восстание пражан в майские дни.

Поняв безвыходность своего положения, гитлеровцы в течение 10 и 11 мая сложили оружие и сдались в плен. В тот же день части 1-го Украинского фронта вошли в соприкосновение с американскими войсками в районе Карловы Вары и Клатовы. Выходом Красной Армии на линию встречи с американскими войсками и полным пленением немецко-фашистской группировки на территории Чехословакии закончилась Пражская операция, а для нас, участвовавших в ней, наконец-то пришла долгожданная настоящая радостная Победа!

Приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР от 9 мая 1945 года наиболее отличившимся в боях за освобождение Праги соединениям и частям было присвоено почетное наименование «Пражских». Из частей 5-го Гвардейского Зимовниковского корпуса этой высокой чести удостоена 24-я Гвардейская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковая бригада, в которой автору этих строк довелось участвовать в сражениях при форсировании Днепра, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Верхне-Силезской операциях, штурмовать Берлин и освобождать Прагу.

С большими почестями были похоронены на Ольшанском кладбище Златой Праги советские воины, которые своей кровью навечно скрепили дружбу наших народов. На их могилы возлагают цветы пражане, жители других городов и сел, выражая любовь и признательность советским воинам за освобождение чехов и словаков от немецко-фашистских захватчиков.

Приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР от 9 мая 1945 года участникам освобождения столицы Чехословакии была объявлена благодарность и вручена грамота об этом историческом событии. Многие солдаты, сержанты, офицеры и генералы – участники боев за освобождение Праги – награждены орденами и медалями.

В ознаменование выдающейся победы Советских Вооруженных Сил была учреждена медаль «За освобождение Праги». Этой медалью награжден весь личный состав 4-й Гвардейской танковой армии и других частей, участвовавших в боях за освобождение Праги.